

# ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ

ПОВЕСТЬ



АФАНАСИЙ МАМЕДОВ  
Родился в 1960 году.  
Живет в Москве. Прозаик,  
журналист, литературный  
критик. Печатается в  
журналах. Автор романов  
«Хазарский ветер», «Фрау

Шрам» и других. Лауреат  
и финалист литературных  
премий.  
Большинство героев произ-  
ведений Афанасия Маме-  
дова — это его слабо зана-  
муфлированные альтер эго.

## *Памяти Седочки*

I

Не могу сказать, что и мне, юному «гражданину второсортной эпохи», в те идейные времена мир представлялся порождением идей, что я сознательно наколдовал себе службу в Военно-воздушных силах; впрочем, не могу я и отрицать того факта, что где-то в глубине души желал этого — оформил подписку на журнал «Крылья Родины», купил в главной комиссионке города, что располагалась через дорогу от Музея Ленина, авиационный хронограф Avi-81 со специальной подзаводной головкой, которую летчик мог подкручивать в полете, не снимая перчаток.

Военно-воздушные силы казались мне единственным родом войск, в которых не затапывали свободу, хотя бы потому, что уставная кирза плохо сочеталась с полетными качествами эскадрилий, вообще со всем, что заправлялось керосином и летало выше тысячи метров над землей. Право, я не сильно ошибся бы в своем выборе, если бы за несколько месяцев до увольнения в запас не угодил в одну пренеприятнейшую историю.

Начать ее, вероятно, следовало бы не с приезда тети и брата ко мне в часть, а с моих ныне покойных родителей, чья деликатность вкупе с долго-

терпением, когда дело касалось судьбоносных моментов жизни их сына, по сей день удивляет меня и служит примером. Однако тогда мудрость родителей, их благородство воспринимались мною как должное. Я был напорист, гнал к цифре, на которой замерла стрелка моих японских хронографов, после того как я на спор с однокурсницей окунул их в купель с севастопольским шампанским. Я бросил Институт искусств, уехал в Москву, вернулся и поступил в Техникум советской торговли, сменив, так сказать, опасную актерскую профессию на еще более опасную — заведующего магазином промтоваров. Однако этого мне показалось мало, и я решил сходить в армию, попутно выдвинув ультиматум предкам — не приезжать ко мне и не вести со мною переписки.

Детство, отрочество, юность бывают, конечно, глупыми, но не настолько, насколько полагают порою некоторые родители. Мои, хоть и были молоды, в свое прошлое заглядывать уже умели, потому, наверное, почувствовали, что желание мое не было спонтанным, что за ним что-то стояло.

Действительно, созревало оно в течение года. Главную роль в его принятии сыграли армейские побасенки ближайшей к нашему дому шпаны. Надо ли говорить, что чем меньше времени оставалось до моего ухода в армию, тем больше нравоучительно-сти оказывалось в их историях.

Я взирал на эту армию сказителей, как самураи периода Эдо на своих сёгунов и дайме. О, я много полезного почерпнул от них.

Например, я точно знал, в каких родах войск предпочтительней служить, как реагировать на прапора с «макаром» в руке, которого накрыло звериное буйство после двух стаканов водяры, что делать, если твоя ракетная часть оказалась закопанной во льды Северного Ледовитого океана или если тебя вместе с заставой занесло раскаленными каракумскими песками, а потерявшая последние легкие североморская подлодка продолжает вслушиваться в несговорчивые берега дяди Сэма... Но главное, чему меня научили старшие товарищи с семи наших параллельных улиц, — это ни в коем случае не сбрасывать с себя маску невозмутимости, никогда никому не показывать своей слабости, не открываться и не отрываться от своих: оторвался — погиб, проявил беспокойство — забьют сапогами.

Эти два положения я усвоил железно и соблюдал их во все время моего служения отечеству. И когда попал на Западную Украину в Школу младшего авиационного состава, где учился на прибориста и кислородчика, и когда окончил ее и был направлен командованием Прикарпатского военного округа в Ейское высшее авиационное училище для дальнейшего прохождения службы.

После полугода муштры в Школе год в училище у самого маленького и неглубокого моря в мире пролетел незаметно.

За исключением «технических» дней и дежурств, мы все время проводили на аэродроме, вопреки уставу, часто обслуживали полеты в три смены, после которых на сон и умывание оставалось едва ли больше четырех часов.

Зимой влажный, пронизывающий до костей ветер превращал нашу жизнь в ад. Но и в аду мы находили сносные для временного существования местечки. Падали на отражатели, согретые соплами самолетов, и о чем только ни беседовали, лежа на быстро остывающем железе. А когда говорить становилось не о чем, клевали носом по-стариковски под потрескивание остывающих отражателей. А вот летом «точка существования» распускала свои лепестки, все равно что ромашка в поле. Днем я смотрел на небо, по-хозяйски отслеживая на голубом натянутом шелке следы доверенных мне бортов, а вечером — на звезды, как на выстраданные убеждения. Медовые запахи трав дурманили голову, пели колдовскими голосами неопознанные симфонические

птицы; дразнили эпической далью, манили свободой покатые вельветовые холмы с размытым синей дымкой трактором в виде неизбежного дополнения к пейзажу...

Я любил «ночники», так мы называли ночные полеты, за холодный огонь светил на распахнутом ханском халате неба. Любил их за особый настрой души, за чувство скрытой опасности в сочетании с той непостижимой красотой, какую дарят порою открытый механизм небес и мигающие аэронавигационные огни, символизирующие вторжение человека разумного в дали, не подвластные его разуму.

Когда я смотрел на фиолетовые, почти черные концы неба, прошитого крепкой джинсовой строчкой аэронавигационных огней, неизменно вспоминал, как когда-то, сидя в кресле у себя дома, видел в точности такие же мигающие огонечки в окне, и они почти всегда рождали во мне неизбывную грусть и странное желание заглянуть за край неведомого. Кто знает, может, из-за этих огней я и подписался на журнал «Крылья Родины», а вовсе не из-за их красочных обложек и сверкающих крылатым металлом ракетноносцев?

Иногда нам удавалось сходить в увольнение, познакомиться с девчонками в парке и повести их в кино. На последних рядах, сгорая от вождения, мы помногу раз смотрели «Пираты XX века» и «Волчью яму»... А после, если томившее нас чувство не было утлено под синематограф и еще оставалось время до прибытия в часть, спешили с барышнями к берегу, искали в темноте свободные рыбацкие лодки.

Если в увольнение сходить не удавалось, я отправлялся на дежурство по аэродрому, где у меня, незадачливого сердцедера, было несколько тайных норок. Там, чувствуя себя хозяином положения, я прочел всего раннего Толстого, включая рассказ «Рубка леса», потрясший меня почему-то основательнее прочих, «Воспитание чувств» Флобера, «Луну и грош» Мозма, «ТАСС уполномочен заявить» Семенова, «Кола Брюньона» Роллана, «Мастеров мозаики» Санд, «Блеск и нищета куртизанок» Бальзака, «Южный крест» Слепухина и много-много еще чего самого разного, не считая познавательных советских журналов и оторванных календарных листков, в которых напоминание о той или иной исторической дате сопровождалось пошаговыми гастрономическими рецептами. (До сих пор помню, что День взятия Бастилии проходил под приготовление холодца из свиных и говяжьих ножек.)

Эта база вместительностью на две эскадрильи для нас, солдат срочной службы осеннего призыва, была эдаким символом скорого увольнения в запас. По крайней мере, мы знали, что прежде чем вернуться домой, необходимо будет преодолеть препятствие в виде летней базы под Буденновском. Шесть месяцев – и ты дома.

Наконец, я начал с пользой для расширения кругозора водить в чайную заведующую отделом худлита главной библиотеки Ейского высшего военного авиационного училища. Я угощал ее пирожными со сметаной, а она делилась со мной впечатлениями об одной и той же книге – «Аэропорт» Артура Хейли.

Неужели в этом книжном раю, думал я, она, изнывая от избытка свободного времени, ничего, кроме «Аэропорта», не читала. Я уже было записался в очередь на очередной шедевр американца, но библиотекаряша, по всей вероятности, уставшая от моей нерешительности, ромовых баб и разбавленной сметаны, предпочла вскоре мне курсанта-выпускника. «С ним легче, чем с тобой», – объясняла она мне свое решение с какой-то сестринской назидательностью. Летун увез ее на Сахалин, тем самым лишив меня последней возможности разобраться в том, как пишутся великие производственные романы.

Осенью, минуя звание ефрейтора, я получил погоны младшего сержанта, и меня назначили командиром солдат-срочников третьей эскадрильи и ПДС (парашютно-десантной службы). Поскольку решение было принято как сверху, так и снизу – всеми нашими ребятами, больших сложностей с удержанием власти у меня не было. Тем не менее охраной я на всякий случай обзавелся – один блатной бакинский

лезгин, другой – полутяж из Махачкалы с поломанными борцовскими ушами. А когда кто-то из них или оба коротали время на ейской гауптвахте, их подменяли два таджикских немца – Гансик и Франсик. Когда и их не оказывалось рядом, я полагался на складной нож-лисичку, всегда приоткрытый на четверть с помощью парашютной резинки.

Мне оставалось отслужить полгода, когда на самом верху затеяли большие маневры. Стоит ли говорить, что случились они как положено, в высшей степени неожиданно, по крайней мере для солдат-срочников, хотя я, как сержант, был предупрежден до тревоги штабным секретарем по прозвищу Пупок.

Каждого разбудил и загодя выстроил подразделение у зарешеченной двери в ружкомнату, над которой, воя сиреной блокадного Ленинграда, вспыхивало табло с надписью «Тревога».

Третья эскадрилья и ПДС первыми запрыгнули в ЗИЛы и «Уралы».

Грузовики мчали нас к аэродрому, прожигая предрассветное чернило молочным светом фар.

В классе предполетной подготовки нас особо не мучили: солдатам третьей эскадрильи и парашютно-десантной службы, приписанной к нам, надлежало в ходе операции, название которой уже не вспомню, захватить полосу аэродрома в сорока минутах лета или около того, занятого условным противником, и подготовить таковую полосу к приему первого звена истребителей-бомбардировщиков ровно в 6:30.

Где находилась полоса, мы узнали, только когда наш транспортник, перегруженный Ан-12 Ростовской транспортной авиации, пробивая злущую мокро-снежную кашу, выпустил шасси, заходя на посадку в третий решительный раз.

Аэродром – якобы полный бесчинствующих противников – был нашим запасным аэродромом, летней лагерной базой, о которой мы много слышали, но которую за год службы в училище ни разу не видели, располагался он где-то неподалеку от Буденновска, в ту пору как никогда далекого от тех трагических событий, благодаря которым суждено ему будет остаться в новейшей истории страны.

Эта база вместительностью на две эскадрильи для нас, солдат срочной службы осеннего призыва, была эдаким символом скорого увольнения в запас. По крайней мере, мы знали, что прежде чем вернуться домой, необходимо будет преодолеть препятствие в виде летней базы под Буденновском. Шесть месяцев – и ты дома.

Ровно в 6:30 – вот когда я пожалел, что на моем запястье не оказалось японских «котлов», – мы

приняли нашего комэска Кондратенко и его звено, за которым пошли садиться другие звенья, а затем и другая эскадрилья.

В ответ на благодарность подполковника мы вразнобой, смущенно косясь на полосу с прибывающими самолетами, поклялись служить Советскому Союзу.

Вот на этой летней базе все и началось, хотя выглядела она на переходе из марта в апрель совсем не по-летнему. Но лето пришло.

И прошло незаметно. Да что там — пролетело!..

И начал я потихонечку готовиться, как у нас говорили, к дембелю. Нет, меня не интересовала парадная форма, мне было абсолютно без разницы, в каком номере «формы одежды» я вернусь домой, не интересовал меня и дембельский альбом с бархатной обложкой и мельхиоровым самолетиком на ней, набитый под завязку фотографиями сомнительного качества. Другое интересовало меня: как бы переправить на гражданку дневник (две общие тетради), исписанный мелким почерком. Дело в том, что именно в армии пришло ко мне выстраданное на бесконечных дежурствах решение стать писателем, нет, не «производственным» вроде Хейли, но тоже со своей взлетной полосой.

Я придумывал названия будущим рассказам и повестям, аккуратно записывал сюжеты, даже набросал вчерне свой первый рассказ — «Рыцари неба» (было у него еще название, несколько лучше — «Мастер»). Рассказ о победе над страхом.

У молодого курсанта родом с Северного Кавказа не получается без помощи инструктора, обычно, без затей, капитана Алешина, эдакого потомка толстовского капитана Тушина, посадить истребитель-бомбардировщик; дело доходит до того, что командование училища готово отчислить молодого человека за профнепригодность. (В летных училищах худшее вообразить себе сложно.) Мурадбеков, так звали моего героя, даже представить себе не мог, как вернется в родной аул и что скажет бабушке. И вот очередной вылет. Только после того, как он за несколько мгновений до посадки вспомнит о родном ауле, бабушке-ювелире, вспомнит руки его, руки мастера-заргера за работой, у него получится сесть, да так, как однажды садилось на их учебную полосу боевое звено из Афганистана пролетом на ремонтную базу, расположенную в Шяуляе.

Концовка рассказа, во-первых, требовала тщательной доработки, во-вторых, я еще не решил, что ждет героя — патрулирование одной шестой, героическая смерть на неизвестной войне в Никарагуа или отряд космонавтов?.. А может, Мурадбеков

станет летчиком-испытателем, как Марк Галлай\*, и сам будет писать рассказы? Тогда мне надо бы писать от его, Мурадбекова, имени. А этого очень не хотелось, хотелось быть самим собой. Хотелось *прозвучать*.

Я не помню, при каких обстоятельствах решил стать писакой, помню только, вдруг с чрезвычайной для себя ясностью осознал, что не собираюсь ни на одной улице города Баку делиться своими армейскими впечатлениями, бескорыстно переплавляя их в чужой опыт; именно тогда я почувствовал, что все, что пишется, — слепок вечности, а болтовня — к пеплу...

Я носил в себе неспетые миры, подробности существования которых переполняли меня. Не написав до конца ни одной вещи, я вдруг сделался невообразимым снобом, к тому же еще и страшно амбициозным и на редкость завистливым. Не забывал я и того, что не первый в семье берусь за перо и что, может быть, именно в силу этого обстоятельства, удача будет ко мне благосклонна и в домах читающей московской и ленинградской интеллигенции появится «Юность» с моими рассказами, а потом, кто знает, может, они даже соберутся в огоньковскую брошюрку.

Возвращаясь к родителям, скажу, что, согласившись не приезжать ко мне ни в день присяги, ни где-то посередине службы, когда родительская тоска по чаду достигает пределов, поступили они на редкость дальновидно. Дело в том, что все равно мне писали папина вторая жена, Ирина Петровна Новинская, и Седочка — тетя моя, мамина младшая сестра. Не отвечать им я не мог, это было бы верхом неприличия. Они-то со мной никаких условий не заключали. Стоит ли говорить, что после каждого моего письма мои корреспонденты делились новостями с родителями.

Как я уже сказал, служба моя подходила к концу, и нужно было где-то спрятать две общие тетради, исписанные мелким почерком.

К тому времени я уже был сержантом, научившимся держать нос по ветру, у меня были везде свои люди, включая офицерскую среду. Я мог в любой момент заглянуть в столовую и попросить «реактивную» пайку с кусочком темного шоколада; я курил сигареты «Столичные» и «БТ», пил прасковейский мускат, когда прапора глушили чимер. Вероятно,

\* Марк Лазаревич Галлай (1914–1998) — советский летчик-испытатель, участник Великой Отечественной войны, писатель, Герой Советского Союза.

именно в силу этого нового приобретенного в армии качества я и не воспользовался самым надежным способом переправить две тетради домой.

На полетах ребята из заступившей смены сказали, что меня ищет замполит: «Кажется, что-то срочное...»

Я вернулся в часть.

Наполовину обутый дневальный сидел у распахнутой по-домашнему двери кубрика и искал что-то в меру начищенном сапоге гармошкой.

- Золотую рыбку приманиваешь? – спросил я его. Дневальный с ответом не тянул:
- Тебе с того только хвост обломится, – смерил меня вызывающим взглядом и наклонился вместе с табуретом.
- Меня замполит искал, может, знаешь, что случилось?
- По радио Чайковского не передавали, значит, все целы. – И нырнул во мрак сапога.

Наверное, он хотел сказать – Шопена, но я его понял.

Ладно, думаю, занят человек, не буду мешать. А так хотелось выбить из-под этого Чайковского табурет.

- Поймаешь золотую рыбку, передай привет.

В ответ он запустил руку в сапог и возвел свои полные какой-то старообрядческой надежды очи в угол потолка. Ему явно было не до меня.

Иду искать замполита. Скорее всего, он в штабе эскадрильи.

У меня с ним установились вполне нормальные отношения. Во-первых, он называет меня, как все, – сержантом Мамедом, во-вторых, всегда спрашивает, как мои дела и все ли нормально дома, в-третьих, никогда не докучает политикой «американских ястребов». Видно, что-то подсказывает майору, что благодарных слушателей для очередного антиамериканского шоу не следует искать в третьей эскадрилье.

- А, сержант Мамед!.. Заходи. – Майор Тихонов, по-нашему, по-простому, – Митрич, грустно улыбается в ржавые усы, должно быть, так улыбаются уволенные с работы клоуны за чрезмерную сердечность характера. – Хочу тебя порадовать.
- Может, не стоит, – смотрю на него как бы умоляюще.

«Я вообще-то с полетов, устал как черт», – говорит мне мое лицо, которое я чувствую сейчас, как актер на сцене.

Он глядит на меня вприщур, потом тянется к «Приме», распечатывает пачку:

- Значит, ты и вправду ничего не знаешь? – чиркает колесиком зажигалки.

Вместо ответа я делано вздыхаю, но он не замечает этого, отвлекаясь на сигарету, которую не сразу раскурил.

- Тетя твоя приехала.
- Тетя?.. – Шутит что ли, вскинулся сразу, а может, Седочка и впрямь приехала? Писала ведь в последнем письме, что хочет заехать ко мне по дороге в Геленджик.
- Тетя, тетя... – Тихонов во второй раз закуривает непослушную сигарету. Аккуратные его усы при этом слегка шевелятся. Он напоминает мне Алешина из моего недописанного рассказа «Мастер». – Сидят с братцем твоим на скамейке возле плаца. Братца, кажется, Эмином зовут...
- Так точно!..

Я отдал честь Тихонову-Алешину, сильно изогнув пальцы вскинутой руки в знак предельной благодарности за доставленную весть.

- Какая интеллигентная... Никогда бы не подумал, что твоя тетя, – сказал майор на дымном выдохе.

Теперь я уже не сомневался, Седочка действительно сидит с братцем на скамейке возле плаца. Интеллигентная, хрупкая... Учитель русского языка и литературы. И мне вдруг так страшно стало за нее, что я чуть не вышел на лишнюю петлю, когда огибал барак.

Бегу, а во мне уже осень, Сабунчинский вокзал и Вторая Параллельная, дом 20/67...

Зачем, зачем она приехала, мне же еще три месяца служить?!

Удивительно, как быстро отвыкаешь от женщин, от того, к чему они призваны и что, вероятно, есть единственное спасение, быть может, для всего мира.

Мир, в котором я существовал более полутора лет, в таком спасении, по правде сказать, не особо нуждался.

Как только я увидел тетю, мне немедленно захотелось увести ее из нашего зверинца. Было что-то кошунственное в том, что *моя тетя* находилась здесь, да еще с маленьким братом – смыслом всей ее жизни. Жизни такой многотрудной и честной.

Седочка даже разглядывать меня не стала, говорить: «Ах, до чего ж ты похудел и повзрослел!» Она просто спрятала свое строгое лицо завуча средней школы № 60 в мою пропахшую потом и керосином техничку и стояла так некоторое время, деликатно вздрагивая плечами. А потом принялась протирать очки, стараясь не показывать нам с братом своей минутной слабости:

За то время, что я его не видел, он заметно подрос. Ему нравилось басить, и ему не нравилось, что его мама дала сейчас волю чувствам. Мне кажется, он был этим смущен, однако старался виду не показывать.

- Ну не смогла, не выдержала... Твои родители пусть поступают как хотят, это их право... Но у меня тоже есть свои права.
- Это факт, – согласился я.
- В конце концов, ты у меня на руках рос...
- Неоспоримый факт!..

Я вспомнил, как она брала меня на свидания, как она со своими подружками Беллой и Тамиллой танцевала твист под Чабби Чекера, как мы у нее на четвертом этаже нашего дома ели яичницу с астаринскими помидорами без вилки и ножа, просто залезая хлебом в чугунную сковородку.

- Разве я с тобой в Невинномысск не ездила, когда ты маленький был?.. А сколько я с тобой в школе натерпелась, пока ты ее закончил!..

Мне захотелось извиниться перед ней за бестолковые школьные годы, но вместо того я обнял, прижал ее сильнее к себе. Она пахла так же, как мама. Почти как мама. Потом я подошел к брату, расцеловал его. Спросил, как у него дела, в какой класс он перешел, по-прежнему ли занимается фехтованием, не сменил ли рапиру на шпагу. Брат сообщил, что вообще-то он саблист, и показал наметившимися мушкетерскими усиками, что не намерен отвечать на дежурные вопросы какого-то там старшего брата.

У него были черные глаза фехтовальщика, всегда готовые к выпадку, и забавный нос кнопочкой, который он еще и ревниво собирал в гармошку всякий раз, когда его мама глядела на меня.

- Сказал бы хоть что-то... – попросил я его с немислимой в этих местах вежливостью.

- Что тебе сказать? – так же церемонно ответил мой брат.

За то время, что я его не видел, он заметно подрос. Ему нравилось басить, и ему не нравилось, что его мама дала сейчас волю чувствам. Мне кажется, он был этим смущен, однако старался виду не показывать.

- Правда, похож на Эмика? – тихонечко спросила тетя заговорщическим тоном.

Эмик был первой и последней ее любовью, той самой, о которой пишут книги и снимают фильмы, поэтому я даже не стал представлять себе образ Эмика, чтобы сравнить с братом, я сразу выпалил:

- Да, очень...

Я начал думать, куда бы мне их увести подальше от места, где все права, включая права чей-то тети из Баку, плавали в комбижире в одном из чанов в столовке.

А Седочка мне:

- Между прочим, я тебе тут торт «Прага» из Буденновска привезла!..

Я уже не вспомню, смог ли изобразить глазами благодарность, но почти уверен, что скрыть удивление мне не удалось.

Ну все, думаю, времени на незаметное исчезновение у нас немного.

Я положился на лесопосадку: знал там несколько вполне приличных пеньков, к тому же потомственным горожанам, какими являлись тетя и брат, мог быть небезынтересен открывавшийся пейзаж – роскошные пшеничные поля, выкрашенные щедрым солнцем в светло-желтый цвет.

(Чего-чего, а солнца и полей здесь в избытке. Больше всего я люблю, когда на поля ложится тень от облаков или на разбитую дорогу – от парящего орла.)

Я сразу понял, что торт мне надо будет отдать замполиту Тихонову. Этот во всех смыслах благородный жест поможет отправить тетю с братом назад в Буденновск еще до вечерней звезды.

Естественно, я начал думать, как сделать так, чтобы торт не помялся и не потек и чтобы тетя не поняла, что я уступил его замполиту.

Я нашел тень, практически лесную, усадил тетю и брата на пеньки. Мы смотрели на поля, на дорогу, по-шишкински петляющую вдаль, и вспоминали общее семейное прошлое, от которого я оказался отрезан в значительной степени по собственной инициативе.

А потом тетя сказала:

- Мама готовится к твоему приезду, ремонт делает.

Я представил себя в Баку в отремонтированной квартире.

– В твоей комнате пришлось снести голландскую печь...

– Что так? – Я не представлял себе мою комнату без голландской печки.

Брат загадочно улыбнулся. Он явно что-то знал, что-то такое, чего мне пока знать не полагалось.

– Чтобы было побольше места, – подозрительно просто объяснила тетя решение мамы.

– Это я понял... – соврал я.

Тетя прикинула в уме, стоит ли раскрывать секрет, посмотрела на брата, сказала:

– Она купила тебе софу... арабскую. Папа твой продавал. Недорого.

Намечалась еще одна семейная история, свидетельствующая о непростых взаимоотношениях моих предков.

– Двухспальная... – добавил брат, будто я этой софы не знал, будто не я на ней в пятнадцать лет прочел запрещенную «Лолиту».

Я обратился взором к бескрайним просторам полей.

– А еще наполнила мини-бар твоей мечтой – американские сигареты, виски, джин, жвачки... – Тетя снова посмотрела на брата, она явно была в сговоре с ним. – Я категорически против всего этого Голливуда. Ты меня знаешь. Я тебе об этом писала.

– А мама случайно не починила мои японские часы? – Я устал вглядываться в поля и поэтому сказал первое, что мне пришло в голову.

– Почему мама должна чинить тебе твои часы? – справедливо заметила тетя. – Приедешь – починишь сам.

Я представил себя в отремонтированной квартире, лежа в ванне со стаканом дымного американского виски – бурбона, в котором плавали два нерастопленных кубика льда, а совсем отбившаяся от рук мать Лолиты, в банном халате нашей соседки Шахназ, протягивала мне пачку настоящих Pall Mall, бормоча что-то свое на смеси азербайджанского и американского английского.

– Ты кого-нибудь видела из моих друзей? – спросил я тетю, чтобы без потерь выйти из ванной комнаты.

– Из тех, кто каждый день угол нашего дома подпирает?... – Взяла паузу, завучи умеют это делать не хуже народных и заслуженных. – Надеюсь, после армии ты образумишься. – И опять посмотрела на моего брата, будто и он тоже должен был образумиться. – Хотя бы закончишь техникум... В который тебя, к слову сказать, никто насильно не запикивал.

Помедлив, я сказал тете с особой доверительностью:

– Седочка, знаешь, я начал писать...

– Писать?..

– Прозу. – Прозвучало это так, будто до того я только и делал, что писал поэмы, баллады, сонеты и даже пьесы в стихах... Впрочем, это уже не имело никакого значения, так как тетя, преподавательница русского языка и литературы, страстная поклонница Достоевского,отреагировала незамедлительно:

– С прозой – это не ко мне, это к своему отцу с Ириной Петровной.

Я не обиделся на нее, хотя мог бы. Просто отказался от идеи, которая пришла мне в голову несколькими минутами раньше. Собственно говоря, именно поэтому я и разоткровенничался.

Я больше не задавал вопросов, связанных с семьей, домом и улицей, к которой пока что все еще оставался привязан едва ли не меньше, чем к дому. Мы просто вспоминали прошлое. Когда брата еще не было и когда он уже был и ходил в ту же школу, что и я. Мы не заглядывали вперед. Нам так было удобней. В особенности после того, как я окончательно убедился в том, что для Седочки мое увлечение литературой не что иное, как уклонение от серьезной жизни вечного троечника-пофигиста.

Я знал, какое значение для тети имеет отпуск и поездка на море, на другое море – не наше, как она старается хотя бы на эти дни забыть обо всем, в особенности о школе №60.

– На сколько вы едете... в Геленджик?

И когда тетя ответила на мой вопрос, лишний раз убедился в правоте своего решения: не стоит передавать ей мой дневник. Зачем он ей в отпуске, в Геленджике? К тому же она может элементарно потерять его. В конце концов, это всего лишь дневник.

Справа от складов ГСМ срезала угол в направлении лесопосадки, перпендикулярной нашей, группа в четыре человека. Вскоре самовольщики вполне профессионально растворились в «зеленке». Поскольку одежда на них была техническая, я сделал осторожное предположение, что в часть они после полетов не заходили. Я был уверен – то были «гонцы» из нашей эскадрильи, договорившиеся еще на обеде затариться портвешком в селе Чкалуха (Чкаловское). Так вот почему дневальный с пытливостью звездочета вглядывался в свой сапог – рубчик заныканный небось искал.

Брат заметил, что внимание мое переключилось, а вот тетя – нет. Она все еще рассказывала мне о новых соседях, поселившихся в нашем дворе.

Особенно мне понравилась, с ее слов, конечно, девушка Марина, похожая на Мирей Матье, я даже подумал, а не заменить ли ею Шахназ. Шахназ, Марина, мама Лолиты, о чем я?..

Я попробовал рассчитать, сколько времени у меня есть в запасе, пока не вернется «экспедиция» из села Чкаловского. Пока, объединившись в усилиях с дневальным и еще с кем-то, она не погуляет душевно и не нарвется на какое-нибудь приключение, которое не обернется в очередной раз жареным петухом.

По всему выходило, у меня в запасе часа два с хвостиком. Такие вещи чувствуешь на излете службы.

Я предложил тете пойти к тому месту, где мы встретились.

- Мне нужно забежать в штаб буквально на пять минут, поговорить с замполитом и поставить «Прагу» в холодильник.
- Что же ты раньше этого не сделал, – удивилась Седочка тем тоном, от которого я отвык.

Тетя с братом устроились в курилке на скамеечке напротив штаба.

Если бы Тихонов оказался на прежнем месте, это было странно. Хорошо, в коридоре вертлявый подвернулся. Он только запер на ключ дверь штабной комнаты нашей эскадрильи. Заметив меня, из вредности выключил свет, но я полностью не ослеп. В длинном коридоре оставалась гореть аварийная лампочка, о которой он, скорее всего, просто забыл. Она тускло горела за моей спиной неподалеку от входа.

Сдавленный узким коридором, Пупок двигался навстречу мне, словно собирался совершить прыжок в темные воды.

Секретарь третьей эскадрильи был известен тем, что стучал и на офицеров, и на своих. Он не мог иначе. Его много и довольно сильно били, однако это не помогало. В какой-то момент обе стороны решили использовать Пупка в своих целях. Пупок финт этот раскусил и к добыче информации начал относиться еще серьезней, чем прежде. Теперь он не позволял себе потерю бдительности ни на миг.

Зацепившись цыганским взглядом за вызывающе белый короб, перевязанный, как все коробки с тортами, Пупок попробовал изобразить дружеское участие:

- Ищешь кого-то, сержант?.. – мотнул головой, как лошадка, чуть пилотку не потерял.
- Тихонов здесь?
- Шары гоняет в бильярдной, – мимоходом заложил начальство секретаря нашей эскадрильи.

От него пахло чернилами, булочкой, нагретым на солнце крашеным деревом и котенком, с которым он

тетешкался в последнее время, добывая ему молоко в столовой.

Я метнулся было к выходу, к той самой лампочке-грешнице. Но тут Пупок сотворил музыкальные брови, причем достаточно убедительно:

- К тебе приехали? – В интонации его угадывалась скорее точка, чем вопрос. Брови при этом оставались на прежней высоте, допустимой как в случае вопроса, так и утверждения.

Я взял на заметку его фирменную путаницу в знаках: кто знает, чем все обернется, во что выльется, Пупок непредсказуем.

Когда мы с ним вышли на дневной свет, я показал тете с братцем пятерню – мол, через пять минут буду. И, не оглядываясь, кинулся в сторону соседнего барака, в котором располагались ленинская комната, библиотека и бильярдная.

Замполит гонял шары в гордом одиночестве.

Он не слышал, как я вошел в бильярдную, как открыл дверь с отметиной от сапога у ручки, если бы он слышал, наверняка бы перестал разговаривать сам с собой, что в принципе по большому счету, когда ты играешь и за себя, и за противника, можно сказать, нормально. Но дело было в том, что противником его была женщина, и с ней замполит явно не в бильярде состязался. Обрывки фраз, долетавших до меня, на то указывали.

Мне пришлось кашлянуть, как это делают в кино или в книгах учтивые люди.

- А, сержант... – вернулся майор то ли домой с небес, то ли небеса его стали домом, а тут он лишь мирился с существованием, спорил с женщиной по имени Надя: «Надя, Надя!.. Надежда Николаевна! Устроила себе каникулы в Простоквашино!..»

Так он говорил, когда разбивал пирамиду на зеленом сукне. А еще о разбитой вазе говорил, которую не склеить, после того как Надежда Николаевна «выгуляла семейный фундамент».

- Тетя просила меня вам торт передать, – сказал я, будучи не вполне уверен, что майор слышит меня, и добавил: – «Прагу»...
- Да, да... – Он стукнул по шару кием, тот в свою очередь с тяжелым костяным звуком влетел в другой и от него уже, по непредсказуемой траектории, угодил в дальнюю лузу. – Говоришь, «Прага»?!
- Так точно, товарищ майор.
- «Прага», «Прага»! – сказал он, как только что говорил «Надя, Надя!». – «Прага» – это замечательно. – И добавил: – Во всех смыслах.

Я не был уверен, что он сейчас о торте, а не о городе, в котором, как я слышал, служил до того, как его перевели к нам.

Я предпочел помалкивать, слушая его отстраненную речь, пока он бурил кием кусочек мела.

– Ты, сержант, наверняка хочешь, чтобы я помог тебе тетю с братом в город доставить.

Я сам почувствовал, как у меня вспыхнули уши.

Майор тем временем закатил в лузу еще один шар.

Когда он сменил позицию, сместившись вправо, я обратил внимание на стул, что стоял неподалеку от того угла стола, в лузу которого с плотным косяным стуком влетали шары.

На стуле лежали достаточно толстая, растрепанная книга без обложки и граненый стакан, изнывающий от грусти, с невидимой, но угадываемой стограммовой отметиной.

Майор сверил настенные часы, лишившиеся хода еще до нашей эры, со своими «командирскими».

– Через полчаса подойдешь с тетей и братом к восточному КПП. Слепцов должен в Буденновск ехать, нового начштаба к нам привезти. – И повернулся ко мне широкой спиной. – Газик шестьдесят шестой, номер не помню. Скажешь, замполит велел доставить тетю с братом до автовокзала. Будет кто у Сереги в кабине лишний сидеть, гони взашей от моего имени... Все!

Эх, Надя, Надя, подумал я, какой человек из-за тебя пропадает, а ты фундамент семейный опасности подвергаешь, устраиваешь каникулы в Просто-квашино!

Я не знал, куда мне поставить тетин торт, и поставил на стул, на то место, где лежала разодранная книга, а книгу аккуратно водрузил поверх коробки с тортом «Прага».

Когда я начал благодарить замполита, тот оставил меня, поморщившись:

– Дверь закрой, сержант, и поплотнее. Если хочешь книгу взять, возьми, я в ней смысла не вижу.

В нем начинало сквозить раздражение, и я на всякий случай взял книгу, хотя она была и разодранная и неизвестно было, кто ее написал. А вдруг она интереснее, чем «Аэропорт» Артура Хейли. Я вышел, поднял лежавший на полу возле двери тетрадный листок, сложенный вчетверо, на котором было выведено аккуратно: «Душа моя, Наденька!» Вставил листок между дверным проемом и дверью. С помощью него плотно закрыл дверь. И уже собираясь уходить, услышал:

– Что же мы с тобой делать будем? – Голос майора звучал не так трагично, как до моего великосветского покашливания.

Похоже, замполит был готов на кое-какие уступки морального свойства. Наде нужно было ловить момент.

– Ты поставил торт в холодильник? – спросила тетя, будто мы сидели в доме на Второй Параллельной, у нее на четвертом этаже.

Я заверил Седочку, что торт «Прага» в надежном месте, вечером я его обязательно съем за чаем с товарищами по оружию.

– Прекрасно, – сказала тетя, – как мне тут у вас нравится, какая дивная кругом природа! – И добавила: – Что это у тебя?

– А... замполит книгой поделился. Разодрыш какой-то... Даже не знаю, что за книга, кто написал.

Тетя взяла ее у меня, полистала, улыбнулась, как все учителя, вызывая нерадивых учеников к доске, вернула.

Я сунул книгу за ремень, поинтересовался у нее, сколько сейчас времени, объяснил, что до восточного КПП еще дойти надо.

Водитель Серега Слепцов доверия не внушал. Во-первых, носил очки с диоптриями и при этом злобно шурился, во-вторых, за рулем трещал обо всем без умолку и, наконец, в-третьих, спирт водюю развлекал уже утром, когда мучился похмельем. Ребята меж собою говорили, это он недавно машину дивизиона связи перевернул. Успокаивало меня только то обстоятельство, что Слепцов вряд ли станет бухать, пока не привезет в часть нового начштаба.

Я сказал Седочке, что ее с братом довезут на грузовике до Буденновска.

– Можете сойти на автовокзале, можете раньше. Как удобно будет.

– Какие прекрасные, какие отзывчивые люди у вас тут, – сказала тетя.

– Люди как люди, ничего особенного. – Я заметил на штабном крылечке старлея-особиста.

Он был в зауженной военно-полевой форме и без фуражки. Достав папиросу, несколько кинематографично постучал ею по коробке, после чего демонстративно направился в курилку.

Прядь пшеничного цвета романтично упала ему на глаза. Жаль, кроме нас, никого не было, никто по достоинству не оценил этот выход к народу. Потратили пленку зря...

Я предложил Седочке пойти на КПП и ждать грузиков там.

Старший лейтенант не считал подозрительным, что при его появлении мы сразу ретировались, привык к тому, что от него бежали люди.

Когда тетя садилась в газик, дверь которого услужливо держал перед ней открытой совершенно трезвый Серега, она еще раз сказала:

– Прекрасные, прекрасные люди окружают тебя!.. Я рада и спокойна...

Картинки были столь четкими, что я решил спрятаться в лесопосадке на время, которое потребуется мне, чтобы прийти в себя. До ужина — точно. На всякий случай, чтобы не быть совершенно одному, я прихватил с собой разодранную книгу, но она либо действительно была слишком сложной, либо попала ко мне не в то время.

Прекрасный человек Сергей Слепцов буквально дословно повторил мои слова:

- Люди как люди. Ага... — И пилотку свою за ремень спрятал, чтобы отросшие вихры были видны моей тете. — Ничего особенного, да... — Однако лицо при этом такое значительное сотворил, будто тетя была корреспондентом «Красной звезды».
- Ты там давай на поворотах поаккуратней, не лихачь, — предупредил я на всякий случай Серегу.
- Ага... — сказал Серега и через минуту оставил меня в клубах пыли.

Я провожал машину взглядом, пока она не скрылась вдали.

А потом еще немножко постоял за КПШ. Понаблюдал, как летают степные орлы — темно-бурые сильные птицы.

Я знал, что мне будет тяжело, когда тетя с братом уедут, но не думал, что настолько. От грусти и безысходности я не находил себе места.

О, теперь я хорошо понимал своих уличных советчиков. Они были правы, мои друзья, подпирающие углы домов с Первой по Седьмую Параллельную. Если не останавливать родителей и родственников, гото-

вых приехать к тебе в любую минуту, то собрать в кулак волю, мобилизовать всего себя на службу после их наездов — дело совсем не легкое. К тому же...

К тому же на меня лавиной обрушились воспоминания. От которых я по природной склонности своей к ним не находил способа отбиться. Природа целого, о которой я предпочел забыть на время службы, но к которой намеревался скоро вернуться, теперь напоминала мне о доме. О самом начале моего существования, закрепленном в альбоме с моими фотографиями: свет, тень и я, я свет и тень, — или же на киноленте собственного производства. В духе итальянского неореализма. Вот Седочка стоит под нашим балконом и ждет, когда мама оденет меня соответствующим образом для гуляний по бульвару, а вот уже мы с ней идем по залитой солнцем площади в городе Невинномысске после просмотра фильма «Искатели приключений»; Седочку атакуют двое чрезвычайно заинтересованных ею молодых людей, я страшно и в то же время чрезвычайно по-детски ревную ее к ним; а вот она уже в Баку укладывает меня спать, я сопротивляюсь, говорю, что не буду ни за что, а она мне: «Как миленький будешь!», и я понимаю, может быть, впервые в жизни понимаю, что бывают моменты, когда договориться нельзя, в особенности если действуешь чересчур прямолинейно.

Картинки были столь четкими, что я решил спрятаться в лесопосадке на время, которое потребуется мне, чтобы прийти в себя. До ужина — точно. На всякий случай, чтобы не быть совершенно одному, я прихватил с собой разодранную книгу, но она либо действительно была слишком сложной, либо попала ко мне не в то время.

Только вышел на дорогу, только прошел мимо плаца, как наткнулся на Пупка. По всему было видно, что и он не ожидал меня встретить. Еще бы!.. В руке секретарь третьей эскадрильи держал коробку с известной уже мне «Прагой».

У меня внутри все вскипело: одно дело отдать торг замполиту и совсем другое — стукачу.

Пупок тоже неизвестно как доставшийся трофей из рук выпускать не собирался. Хотя и не очень представлял себе, как будет отстаивать его, если я навалюсь на него по-настоящему.

Бить Пупка из-за торта, который мне везла тетя из Буденновска с самыми благородными намерениями, не хотелось. Не тот случай. К тому же Пупок — и так битый-перебитый, вот до сих пор головой мотает то в одну сторону, то в другую, от еще одной выписанной ему таблетки не переменится, а вот тетя может почувствовать и расстроиться в дороге.

Идея пришла ко мне мгновенно, как, говорят, приходят все гениальные идеи. Указав пальцем на коробку, я сказал:

– Пупок, ты мой должник!

Он немедленно мотнул головой, как застоявшийся в стойле жеребец.

– Ты мне за «Прагу» должен помочь.

Оживился, тут же начал оглядываться по сторонам.

– Я тебе дам бандероль, которую хочу отправить домой, а ты спрячешь ее в штабе... В сейфе нашей эскадрильи. На время...

Я был уверен на все сто, что это самое надежное место для моего дневника и незаконченной прозы. Кому нужен сейф эскадрильи на лагерном аэродроме?

– Я заберу бандероль в пятницу, когда поедем в Буденновск, в бани. Отправлю ее домой с главпочтамта.

Пупок засуетился услужливо, замельтешил. Хрустнул шейными позвонками. Сделал шаг вперед – символизирующий надежду, и тут же отступил назад – прошение. По всему было видно, что просьба моя не составляет для него большого труда. К тому же ему было лестно то доверие, с каким я обратился к нему.

– Мамед, не сомневайся, все сделаю, как скажешь.

Ты меня только заранее предупреди, когда в баню поедешь. – Мотнул головой, ожидая хруста. Однако хруста не последовало.

– Пупок, в баню поедем вместе. Ты, я и наш здоровый коллектив в полном составе. Или ты уже против нашего здорового коллектива?

– Я?!

– Смотри, заложишь меня – могилу вырою прямо под нашим кубриком. Ни одна собака не найдет.

– Что ты, сержант?! – И упорхнул с тортом в направлении санчасти, наверняка к фельдшернице, умевшей на своих дежурствах ласково обращаться с теми, у кого душа на нитке. Мужчина это или женщина – бедной разведенке было неважно.

## II

Меня не бьют и даже настольную лампу в глаза не наводят, хотя шторы в комнате опущены наглухо и лампа, освещающая зеленое сукно стола, в центре которого лежит мой дневник, светит так ярко, что вполне может сойти за орудие мягкой, но продолжительной пытки.

Должен признаться, они себя ведут корректно. Иногда настолько, что у меня перехватывает дыхание и начинают некрасиво дрожать пальцы.

Тогда они предлагают мне закурить. Не для того, чтобы, выкурив сигарету, я успокоился, но чтобы

руки мои были выше стола и я мог сам увидеть свои неверные трусливые пальцы.

Что ж, пока у них все получается. Я отвратителен сам себе.

Я стараюсь укрепить свой дух воспоминаниями о деде-троцкисте, которого они сгнобили в тридцать седьмом, но это не помогает. Вероятно, срабатывает генетическая память. Более того, я вдруг начинаю вспоминать черно-белые отечественные фильмы, в которых все как один благородные допрашивают продажную и слабовольную интеллигенцию родом из Петрограда осени 1917 года, и мне становится от того только хуже. На последних допросах я все чаще вспоминаю сцену из нового фильма, в котором Высоцкий довольно-таки изощренно допрашивал Юрского. Словно улавливая мое состояние, мои мысли, они в этот момент говорят:

– Я сейчас ненадолго выйду, дела образовались.

Дверь закрывать не буду, а вы посидите тут, посидите, подумайте хорошенько, вдруг что-то вспомните... Поправите тем самым свое положение. Оно у вас совсем незавидное. – И хозяйский взгляд на запястье. – Полчаса, вам же хватит? Как думаете?

И если я молчу, на их слова никак не реагирую, добавляют, постукивая карандашом, всегда остро очиненным, по столу или встряхивают спичечный коробок подле уха:

– А?.. Что?..

В один день меня допрашивает старший лейтенант, в другой – прапорщик. Или утром прапорщик, а вечером – старший лейтенант. Бывает наоборот. Я никогда не оказываюсь готов к встрече с кем-либо из них. Да и не вижу в том смысла: ведут они себя так, словно всегда допрашивают вдвоем, а не поодиночке. Неудивительно, что в какой-то момент в моем сознании оба слились в одного человека, только с разными званиями и голосами.

Есть, впрочем, еще разница между ними. Старлей-особист со мной на «вы». А прапор-особист – на «ты», во всем остальном он в точности повторяет слова Луценко – так зовут старшего лейтенанта. Как зовут прапора, я постоянно забываю из-за того, что он слишком часто взглядывает на часы. И совсем не для того, чтобы в этот момент казаться полноправным хозяином времени. Взглянет, свернется с часами, что висят над дверью, сорвется, засуетится, скажет:

– Я сейчас ненадолго выйду, дела образовались.

Дверь закрывать не буду, а ты посиди тут, подумай, вдруг что-то вспомнишь... – И в коридор

шмыгнет, подковками стучать. У него ноги деревенские, шаг тяжелый — слышно далеко...

Я думаю о том, что это за ситуация такая на мою голову и есть ли кто-то, кто над ней властен. Когда не нахожу ответа, шепчу про себя:

— Цирк какой-то!.. — и смотрю на пятно, которое отбрасывает свет лампы.

Какой ровный круг, дивлюсь я, а потом замечаю роковой наклон на зеленой плоскости, замечаю, что он меняется вне зависимости от положения лампы и направления света. А может, мне так только кажется. Когда смотришь на что-то долго, всегда ведь так — обнаруживаешь предрешенность чуть ли не во всем.

Они меня не посадили. Здесь у нас, по счастью, нет гауптвахты. Они дали мне полную свободу, в том плане, что освободили от полетов, даже от развода и то освободили. Да что там, я в столовую теперь без строя хожу. Хожу, а есть не могу. Не идет ничего, сколько ни запикиваю, ни проталкиваю в себя. От меня все шарахаются, в буквальном смысле этого слова. Даже Гансик и Франсик избегают встреч со мной. Даже блатной бакинец и борец-дагестанец.

Никогда еще я так не чувствовал одиночества, как здесь и сейчас.

Не знаю, может, это только в армии жизнь напоминает сумасшедший дом, где каждый больной, притворяясь здоровым, одержим желанием сменить абажур на лампе рядом с кроватью, вместо того чтобы мечтать о выписке или хотя бы перемене постельного белья.

— На какую разведку работаете? — спрашивает меня старлей с пшеничного цвета волосами, давно уже умершие глаза его словно плавают в растворе формальдегида.

Когда он задал мне этот вопрос в первый раз, я рассмеялся. На десятый — у меня некрасиво затрепетали пальцы.

Я вдруг ощутил свой рост, вес, шансы уйти домой этой осенью в чине сержанта, сохранившего свое лицо несмотря ни на что.

За эти дни я выработал одну положительную черту — включил в себе механизм, ответственный за выживание. Проблему с пальцами удалось решить, я их теперь, когда они начинают дрожать, закладывая за ремень. От особистов, конечно, ничего не скроешь. А от себя — получается.

Почему я никуда не бегу, если меня никто не запер? А куда из Советского Союза убежишь? В столыпинский вагон?

Каждое утро меня будит один и тот же дневальный, предпочитающий нашим самолетам тумбочку:

— Мамед, на допрос...

О, как же легко он это произносит, с каким удовольствием бросает из коридора в кубрик. Будто это не я устроил для него пожизненную тумбочку, чтобы он к самолетам не подходил, которых боится, как ребенок темной силы за ночным окном. Да, они все оказались такими же, как этот дневальный, будто не я добывал им шоколад, который выдают только летчикам, теплые булочки, прикрывал их самоволки...

Единственный человек, который не боится со мной дружить, — наш каптерщик Андрюха Супоросов. Когда я ухожу в каптерку, он меня утешает:

— Не ссы, Мамед, не посадят тебя. Начальнику нашего училища должны генерала кинуть, а тут такая похабел раскрутилась, нарочно не придумаешь... Серега машину дивизиона связи завалил, в роте охраны ростовские корейцы сторожевых собак жрали, прапор Козлов залетевших баб за чирик на катапультном тренажере под облака забрасывал, а тут еще и ты, писака хренов, со своим долбаным дневником. Особисты, они, конечно, люди независимые и все такое, но там, наверху, все тропки сходятся.

— Думаешь, наш начальник училища с особистами вась-вась?

— Люди ж все-таки.

Он так убедителен, что мне хочется слушать и слушать его обнадеживающую трепотню.

— Андрюха, в тебе погиб врач-психиатр.

— Тю, дур-рак... Я вообще — сплошное кладбище возможностей.

Но сколько бы Андрюха меня ни утешал, когда я встаю утром и смотрю на свою подушку — она серая от выпавших за ночь волос.

Когда я умываюсь, бреюсь и чищу зубы, я стараюсь не смотреть на себя в зеркало. Мне так легче. У меня о себе теперешнем сложилось свое представление, я не хочу, чтобы мое отражение влияло на него. Я пришиваю кипенно-белый воротничок к воротнику кителя, драю сапоги, затем иду в столовую и только после этого — на допрос; но если бы я мог курить на голодный желудок, я бы шел сразу на допрос.

Мне кажется, сегодня я смогу им объяснить, что все это — цирк. Вчера мне тоже так казалось, и позавчера — тоже. У меня не получается из-за их нелепых вопросов. Ну какой из меня шпион?

Скоро уже неделя будет, как они долбят одно и то же:

— Где ты родился?

— Кто ваши родители?

— Есть ли у тебя родственники за границей? — бабабанит Луценко пальцами по ребру столешницы, старается, чтобы обручальное кольцо попало по

дереву, тогда получается тот звук, которого он с нетерпением ждет. Ему кажется, что если это будет тот самый звук, он меня расколлет.

- Какими иностранными языками владеете? – Прапорщик раскручивает дешевую шариковую авторучку с обгрызенным колпачком, удивленно обнаруживает в ней наполовину исписанный стержень, пружинку, после чего с успехом закручивает. Через пару минут он проделывает ту же самую операцию. (Интерес к стержню при этом все тот же.)
- Господи, да если бы я владел иностранными языками!.. – по привычке хлопаю себя по карманам, хочу закурить.
- Вы нам здесь бога не вспоминайте, тут вам не духовная семинария.

Я уже не знаю, как мне с ними разговаривать. Что ни скажешь, все не так. Сейчас бы письмо написать маме с папой. Нет, все-таки лучше одному папе. Рассказать все как есть, пока меня в дисбат не определили.

Андрюха Супоросов говорит, в дисциплинарном батальоне хуже, чем в тюрьме, хуже, чем в штрафбате во Вторую мировую. Я там не выдержу, это точно, да еще после полутора лет в армии. Откуда силы взять.

«А твои глаза зеленые, гладью моря упоенные...» Голос у старшего лейтенанта Луценко без опоры, страшно скрипучий и такой далекий, словно в ставропольские края был доставлен из Сибири в опломбированном вагоне.

Всем своим видом он старается показать мне, что давно уничтожил в себе гены, отвечающие за элементарное сочувствие.

Верю. Охотно верю. В особенности когда глаза его вперены в окно, во что-то далекое, будто он мифический персонаж и ищет дорийскую дорогу в советских нетях. «Говорят, что к сердцу гордому мне дороги не найти...»

Иногда прямо с окна он переключается на меня, и чем дальше смотрит своими льдистыми голубыми глазами, тем отчетливее я чувствую, каким маленьким и трусливым становлюсь.

- Ну, если вы не *их* агент...
- Простите, чей я агент?
- Это вам виднее... *чей*. Если вы ничей, как вы пытаетесь меня в том убедить...
- Я вообще не агент. Я – сержант! Я специалист по электроавтоматике и авиационному оборудованию. Я...
- А зачем тогда вам непременно нужно дискредитировать Советскую армию? Опозорить училище на весь мир?

– Мне?

– Ну не мне же... Какую цель вы преследуете?

Голова кругом идет. Говорю же – цирк. Я хочу ответить ему, объяснить снова и снова, но у меня пересыхает в горле. В результате в такие минуты я чаще всего сижу, молчу и смотрю на пачку папирос или сигарет. Старший лейтенант курит папиросы, как настоящий смершевец, а прапорщик – сигареты. «Столичные»! Кружок, звездочки... Интересно, что они там думают, в столице, о таких, как этот старший лейтенант и прапорщик?

А еще, бывает, я смотрю на собачку-медалистку, кажется, это боксер, он стоит на краю стола ближе ко мне, чем к ним. Если качнуть барбоса по голове, что довольно часто делает Луценко, то голова песья начинает согласно качаться, а хвост подобострастно играть. Вообще-то, барбос этот автомобильный, бакинские завмаги этих собачек очень любят устанавливать в своих «жигулях» и «Волгах» на передней панели перед стеклом, и всю дорогу растиражированное животное послушно качает головой. Его присутствие в автомобиле – и намек на вечный двигатель, и в какой-то степени небольшое дорожное развлечение. Но к чему этот зверь особистам? И тут у меня возникает предположение: «А может, они мною забавляются? Ну, от нечего делать, скучно им здесь, вот и наблюдают за моими пальцами, трясутся – ткнут собачью черепушку авторучкой, один ноль в их пользу».

Однако по тому, как серьезно Луценко смотрит на меня и вздыхает горько-горько, точно от тяжелой заботы, гоню эту мысль прочь как несостоятельную.

- Это же не я писал: «Анекдот в армии – большое подспорье нашим офицерам, у которых зачастую нет не только чувства юмора, но и ума, соответствующего хотя бы звездам на погонах». А вот и того краше: «Начальник учебной части полка товарищ подполковник Зверев отправил забеременевшую от него Леночку из лаборатории по проявке пленок параметров полета на базовый аэродром в город Ейск и тут же переметнулся к ее подруге с гибким, как у воздушной гимнастки, телом, по кличке Красная Москва».
- Ну и что? Это же жизнь...
- Что значит это ваше ну и что? У подполковника Зверева, между прочим, жена и трое детей, он в партии с семидесятого года... А Леночка, Елена Викторовна, замуж скоро выйдет, у нее в Ейске молодой человек работает в технической эксплуатационной части... С какой целью вы оставили все имена такими, какие они есть в жизни?

Господи, думаю, чем же я, собственно говоря, отличаюсь от того же Пупка? Он стучит офицерам, а я кому? Вечности?! Да кто я такой? Писать еще не начал. И потом, что останется в этой бесконечной в оба конца вечности, «Аэропорт» Артура Хейли, который я так и не прочитал?

А Луценко продолжает:

– «Каждый день, как только выясняется, что борт такой-то полетит на бомбометание, а не в зоны, как планировалось, мы сливаем из подвесных баков на землю сотни литров высококачественного керосина».

Смотрит на меня так, будто я покривил душой, и дальше в том же духе:

– «По причине халатности обслуживающего персонала (в ручку управления угодила шайба) наш замполит сорвался в штопор и поднял машину на высоте восьмидесяти метров. Ручка управления была скривлена, а шайба – расплющена». На полях карандашом: «Вот тебе и весь Артур Хейли». И наконец, слова, которые просто потрясли меня: «Кто тырит промедол из индивидуальных пакетов?..» Да вы что, сержант, себе позволяете?! Промедол – это вам не свиная тушенка. Вы на что намекаете? Местечко готовите себе на «Голосе Америки»? Думаете, без вас не обойдутся? Для кого писали все это?

– Для себя. Я же вам говорил, у меня в роду – все литераторы, я писал для себя, это моя рабочая тетрадь, мой первый опыт... Моя духовная задача, если хотите, – быть счастливым согласно своей природе. Существуют же потомственные рабочие, учителя, врачи, актеры... Почему мне нельзя вписаться в семейную традицию?

– Так... Ну, это мне порядком надоело! Я сейчас выйду на полчаса, у меня тут дела образовались, а вы подумайте хорошенько, вспомните все-таки, для кого вы это писали. Как говорится, спасение утопающих...

– ...дело рук самих утопающих, – поддержал я беседу на «дружеском» градусе.

– Если у вас такая хорошая память, сержант, может, вспомните, для кого вы в рассказе «Мастер» описывали, как из кабины пилота видна шапка Эльбруса? – И пальчиком своим толстым мясистым с глубоко подстриженным ногтем раз-два по барбосьей голове.

– Для будущего читателя.

– Заокеанского, наверное? Того, кто сразу вычислит, сколько аэродромов у нас вокруг Эльбруса?

– Послушайте...

– Нет уж, это вы меня послушайте!..

Они стучат деревянным пальцем по моему дневнику, они говорят:

– Я сейчас оставлю вас на полчаса, а вы вспомните, вспоминайте.

– Что я должен вспомнить? – Меня уже начинает колотить от их карандашей, собак, лампы, портрета вождя с его четырьмя звездами на увеличенной груди...

– Вам виднее!

– Тебе виднее!

Больше трех-четырёх часов они меня не допрашивают, иначе я бы не выдержал. Сошел с ума. Наверное, на это они и рассчитывают.

Пока прапорщик ходит по коридору, я стараюсь вспомнить в деталях, как моя бандероль оказалась в сейфе штаба эскадрильи, может, правда, вспомню что-то такое, что поможет мне в моем положении.

Через день после того, как уехали тетя с братом, мы вместе с Пупком положили бандероль в сейф эскадрильи.

Помню, была среда. Безветренный осенний день на юге России, ничем таким особенным не напоминающийся. Световые пятна желто-красно-коричневых оттенков. Господство пирамидальных тополей. Поля, поля, поля, и бесконечный вой самолетов над ними. Короче, еще один день безразличия и тоски. В пятницу утром я намеревался забрать бандероль. И после бани отправить ее с главпочтамта домой.

– Как часто открывают сейф? – поинтересовался я у Пупка, когда мы выходили из штаба.

– С тех пор как прилетели сюда, от силы раза два. – Повел плечами, хрустнул шеей и пошел на цыпочках дальше. (Он так ходит, как в балете.) Остановился, задумался, снова пошел. Это он после последних принятых нашими ребятами мер так танцевать начал. Словно жизнь не борьба, а танец.

– И кто открывал?

– Комэск, конечно. – На всякий случай еще раз хрустнул шеей, только теперь свою маленькую, коротко остриженную голову, увенчанную пилоткой на размер меньше, повернул в другую сторону.

– Зачем?

– А я знаю? Папки, карты, печати, летные книжки, ключи какие-то... Бутылку коньяка ты сам видел. – Хотя он снова повертел головой теперь уже и в ту, и в другую сторону, больше ничего в шейных позвонках у него не хрустело, не трещало. По этому поводу на лице его обозначилось некоторое удовлетворение.

- А кроме комэска?
- Я могу открыть, – вскинул голову, – если вдруг печать будет нужна.

Подбородок, поросший рыженькими волосенками, как у дьячка, скошен и разделен неглубокой ямочкой. В народе такие подбородки считаются признаком упрямства.

- И как часто она нужна?
- Та, что в сейфе, ни разу.
- Уговор помнишь?
- Мамед, что у тебя в бандероли? – Его брови, такие же ирландские, как волоски на подбородке, заинтересованно взлетели кверху.
- Дневник и черновики...
- И все?
- Все.
- Твои?
- Чьи еще.
- Кому они нужны, – произнес он устало, чуть ли не по слогам, точно только и делал в последнее время, что прятал чьи-то дневники. – Я-то думал, ты интересное что-то надыбал.

Я оставил без внимания его слова.

На том мы с ним разминулись. Он пошел в санчасть хрустеть шейно-позвоночным отделом, а я – на полеты.

В четверг, перед второй сменой, меня вызвал новый начальник штаба. Я даже предположить не мог, зачем понадобился ему. Может, ребята, когда в самоволку ходили за портвейном в Чкалуху, что-то натворили. Угнали мотоцикл или уронили телеграфный столб. Но мне бы тогда сообщили об этом раньше других. Тот же Пупок. А может, начштаба просто познакомиться хочет? Узнать, как обстоят дела в эскадрилье у солдат срочной службы, новенький же. Кстати, как его зовут?

Как зовут начштаба, я узнал, естественно, у Пупка.

Я осознал вполне, каким наивным был еще пять минут назад, когда майор Плисюк до моего прихода вешавший на стену портрет маршала Устинова, положил передо мной развернутую бандероль и вытащил изо рта гвоздик.

- Ваша? – спросил он, буравя меня своими голубыми навывкате глазами.
- Моя. Позвольте спросить, товарищ майор, по какому праву вы распаковали частную бандероль.
- О как!.. Позвольте вам напомнить, сержант, что ваша *частная* жизнь осталась там. – Майор показал влажными глазами за окно, за поля да степи, затем медленно водрузил на птичий нос очки в роговой оправе, став в них мгновенно похожим на лысую сову. Медлительную. Лопоухую. С про-

куранными желтыми когтями. – Когда вы к своей *частной* жизни вернетесь, я не знаю. И вернетесь ли вы к ней вообще, гарантий дать не могу.

- Что все это значит? Что означают ваши слова?
- О как!..
- Да так.

Плисюк хмыкнул, словно только что выстрелил наудачу и попал. Тут же смерил меня взглядом награжденного за точный выстрел стрелка и открыл дневник ровно посередине. Полистал на моих глазах.

В тот момент, когда я почему-то подумал, что Плисюк антисемит, я заметил в своем дневнике закладки в виде спичек с обгорелыми концами и подчеркнутые красным карандашом места.

Сердце мое замерло и после того включилось, но уже повыше и на другой скорости. Тем не менее я нашел в себе силы пошутить:

- Вы внимательный читатель, товарищ майор...
- О, еще какой. – Он от души послунывил палец, прежде чем дотронуться до очередной страницы моего дневника. – Не представляете себе, сержант, насколько внимательно я читал ваш дневник. Я даже запятые расставлял по своим местам. В школе у вас по грамматике наверняка была тройка. Вот вы пишете в своем дневнике: «То, что мы уже давно загнулись, меня не интересует, это слишком очевидно, куда интереснее, по крайней мере, для меня, неизвестная сторона жизни тех, кто кричит об этом на каждом углу и до сих пор почему-то не разоблачен и не схвачен». На что вы сетуете больше? Могли бы пояснить, кто эти «мы», чья участь предрешена?

На меня снизошло озарение: я вдруг понял, что если он подчеркивал красным аналогичные этой фразе места, я пропал. Меня уже не спасет ничто. Ну, разве что какие-то силы извне.

Он, оборачиваясь в сторону Устинова, добавляет:

- Я жду. – Включает вентилятор, после чего выключает его и снова включает. И так гоняет воздух несколько раз. Чего он хочет, чтобы вентилятор взлетел?
- Это голая софистика... – отвечаю я, и голос мой не нравится. Это все вентилятор его, это он меня отвлек.
- Тогда поехали дальше. – Снова послунывил палец. – Я пропускаю места, в которых вы, уж простите меня, выглядите совсем не убедительно: «Чтобы начальство не задумало, рой ров, он тебя спасет, потому как ров у нас – символ веры», меня больше заинтересовали другие ваши кульбиты. Ну, например: «Пожилые люди обращают большее внимание на памятники и памятные доски, чем

молодежь, та еще не боится забвения, как боится его партийная аристократия с ее героическим прошлым и пышным настоящим». Молчите? Конечно, вы можете сказать, что не имели в виду *нашу* партийную элиту, ее подвиги и страсть к удво-вольствиям. На что я вам отвечу, что вы умышленно пропустили это слово в целях безопасности. — На пальце его уже столько слюны, что мне захотелось немедленно придать свой дневник сожжению. — Вы, конечно, имели в виду заокеанских республиканцев или демократов. Пришли после лекций замполита Тихонова о Соединенных Штатах Америки и набросали свои пессимистические мыслишки, чтобы не забыть. Но ведь до того у вас целый полк наших летчиков, возвращаясь из Кабула, перевозит в самолетах-спарках афганские ковры и кожаные портфели, а после того — философствуете о том, за дело или нет избили Пупка, когда тот донес на... — заглянул в тетрадь, — Андриюху Супоросова, сообщив комэску, что тот выносит из части с целью продажи старушкам мыло, полотенца и тормозные парашюты. Интересно, зачем старушкам тормозные парашюты? Купальники себе шить, что ли?

Представляя себе старушек в купальниках из тормозных парашютов на ейском пляже, я начинаю нервно смеяться.

— Может, воды?..

— Нет, спасибо.

Что же я натворил, о чем думал, когда писал?! О чем? Да разве мог я представить себе, как слово мое здесь отзовется. Я же на это не рассчитывал. Почему никто на нашей старой бакинской улице не предупредил меня о подобных случаях? Почему никто не сказал мне, что в армии не пишут дневников?

— Так что у меня есть все основания полагать, что вы имели в виду все-таки *нашу* «партийную элиту», а не какую-нибудь американскую или британскую. Должен признаться, я не большой специалист в деле расшифровывания закорючек, — он брезгливо приподнял над столом, точно селедочный скелет, мой дневник, — этих девяносто с чем-то страниц, этого, с позволения сказать, наискучнейшего и гнуснейшего по своему содержанию опуса... В котором портрет советского офицера весь состоит из случайностей и надуманностей.

Потрясенный оценкой своего первого читателя, я дерзнул протянуть руку за дневником. Он закричал с небывалом азартом:

— Сидеть, сержант!.. Не надо, не надо торопиться. Дайте договорить. — И обернулся, глянул на маршала нежно, как на девушку, проверил, оценил

ли Устинов его командный тенорок. — Так вот. По счастью, у нас есть люди, большие специалисты в своем деле, им-то я вас и передам. Они решат, что вы за птица такая. — Хлопнул пятерней по моему дневнику. — Завтра же ваш опус окажется в особом отделе. У меня все, сержант.

— Позвольте спросить...

— Нет, не Пупок. Вы же его так называете. Я сам открыл сейф. Я обязан знать, что лежит в сейфах и в ящиках столов моего штаба. — Кстати, сержант, хорошо бы вам разобраться со знаками препинания, если вы не уверены в запятой, мой вам совет, не ставьте ее вообще, неправильно поставленная запятая снижает впечатление от текста. Хотя какое может быть впечатление от дурного запаха. — Он улыбнулся: — Вода и хлеб вам будут обеспечены, сержант, можете не сомневаться.

Я отдал честь и пошел в курилку. Сделал две затяжки, заметил, что мастер грамотно расставленных запятых наблюдает за мной из окна, затушил сигарету и направился в сторону лесопосадки. Я шел к тому месту, где еще недавно сидел с тетей и братом. Мне хотелось немного отмотать ленту назад. Хотелось проверить себя, действительно ли я был тогда абсолютно счастлив, просто не знал об этом. Не знал, как это облако, проплывающее над полем, ничего не знает обо мне, спрятавшемся в лесопосадке.

Вот и все. Больше мне вспоминать нечего, сколько бы они ни топали по коридору своими сапогами.

Такого еще не было, чтобы на половине допроса прапорщика сменил старший лейтенант.

Луценко садится напротив меня, затем отъезжает на стуле до самой стенки и закидывает ногу на ногу. Картинно получилось, как тогда, когда он вышел на крыльцо в зауженной военно-полевой форме, без фуражки, достал папиросу и кинематографично постучал ею по коробке, а прядь пшеничного цвета романтично упала ему на глаза.

Разве думал я тогда, что скоро старший лейтенант будет меня допрашивать.

— Ну?.. — смотрит мне в глаза, которые я то и дело отвожу в сторону, наконец, бросает по-свойски и в то же время отстраненно, как дореволюционный богемный поэт:

— Скоро осень.

— Факт, — поддерживаю я безутешной прозой его лирическое настроение.

Не об увядании же природы и скоротечности бытия хотел напомнить мне этот экзекутор. Я и без

него знаю, что в один прекрасный миг все сюжетные ходы сойдутся в одной точке.

– В пятницу мы переезжаем в Ейск, – продолжил он, потирая лиловый подбородок и серую до скулы щеку.

Я напрягся, сказал:

– Понятно. – Хотя мне совершенно не было понятно, зачем потребовалось Луценко отделять сегодняшний четверг от завтрашней пятницы. Чем она заслужила такую дистанцию?

– Забираем вас с собой. Займемся вашим делом по-настоящему. – И с энтузиазмом придвинулся к столу. – Идите, сержант, готовьтесь.

– Что значит готовьтесь? Как я должен готовиться?

– Собирать вещи, например. – Старший лейтенант снова потер щеку, наслаждаясь интимным лилово-серым шуршанием.

– Какие у меня вещи?

– Я знаю, какие? Вдруг у вас там на два тома еще писанины наберется.

– Там – это где?

– Вам виднее – где... – И ткнул беспокойным пальцем в голову барбоса. А тот будто только ждал этого – башкою своей качает, хвостом виляет... Шея в медалях, а ему все мало.

– Могут идти?

– Идите, идите, сержант... – Луценко удивился моему внешнему спокойствию, быть может, даже легкомыслию, незамедлительно добавил шепотку яду: – Самолет вылетает после обеда.

– То есть как всегда.

Он посмотрел на меня как на идиота. Сделал круглые щеки, словно только что жадно затянулся сигаретой, а потом шумно выдул воздух:

– То есть как всегда. А вы что, на эскорт рассчитывали?

Мне показалось, моя послушность року, готовность встретить судьбу, которая, как казалось Луценко, была в его руках, очень не понравились ему. Вероятно, старший лейтенант ожидал от меня покаянной слезы, продолжительных припадков раскаяния.

– Ждать вас никто не будет, – добавил уже без большого энтузиазма. – Не придете – улетите следующим самолетом, как всегда – после обеда, но уже в наручниках.

Небо сегодня высокое, с розоватыми оттенками, и все в инверсионных следах. По гулу, доносящемуся с аэродрома, ясно, что у второй смены большие планы. Скоро начнет заходить солнце, а пока воз-

дух вокруг него печется, плавится, как за соплами самолетов, когда они выкатываются на рулежные дорожки.

Я набрал воды в ведро для мытья полов и направился с ним в сторону первого, как мы его называем, кукурузного поля. Оно находится в противоположной стороне от той лесопосадки, в которой еще не так давно я принимал тетю с братом. Лесопосадка же, в которую я сейчас направляюсь, находится между дорогой и первым кукурузным полем – мы иногда здесь собираемся с пацанами на гитаре побренчать, отведать арбузов или дынь, коллективно уворованных с наделов соседнего колхоза, представить себе наше скорое будущее на гражданке. Впрочем, иногда мы решаем вопросы, заведомо неразрешимые, так сказать, этического плана: можно ли жениться на разведенке с двумя детьми?

Случалось, к нашей компании присоединялся старшина – прапорщик Филин. Добрейший человек. Странник по характеру души. Но, к сожалению, без золотой карты будущего, поскольку был бесповоротно счастлив в несчастливом браке. Вообще у нас тут много таких, и офицеров, и прапорщиков, на женском пункте спасовавших.

Я шел так, как шел бы на гражданке, знал, что меня никто не остановит, никто ко мне не подойдет и не спросит: «Сержант, почему вы не на полетах?», как могло быть раньше, до того, как мною заинтересовались особысты. Напротив, только приметив меня, офицеры спрячут глаза под козырек и поспешат прочь, как от зачумленного. Тут вообще следует сказать, что, как только мною занялись товарищи особысты, я стал вести себя в части так вызывающе демонстративно, как, пожалуй, никто из солдат. Однако офицеры делают вид, что все нормально, именно так и должно быть. И это обстоятельство выводит меня из себя. Кто они, эти товарищи? Что делают в армии и что вообще умеют делать? Летать? Никто из них никогда не сравнится ни с одним нашим летчиком, пусть даже и сбитым обстоятельствами жизни. Так почему же?... Э...

Я оставил ведро, не доходя до «царицы полей». Неподалеку от той дороги, что до сих пор хранит отпечаток последнего весеннего ливня. Чуть дальше, в сторону от нашей части, эта дорога, ветвясь и горбатясь, вливается в другую – в два раза шире, но тоже со следами не прекращавшегося много дней дождя. Она ведет, гипнотизируя путника однообразием пейзажа, к маленькому гражданскому аэропорту с плохо читаемой отсюда надписью «Буденновск».

«Неофициальный» вход в кукурузное поле я приметил давно, он где-то сбоку, вероятно, это ка-

Я оставил ведро, не доходя до «царицы полей». Неподалеку от той дороги, что до сих пор хранит отпечаток последнего весеннего ливня. Чуть дальше, в сторону от нашей части, эта дорога, ветвясь и горбатясь, вливается в другую — в два раза шире, но тоже со следами не прекращавшегося много дней дождя. Она ведет, гипнотизируя путника однообразием пейзажа, к маленькому гражданскому аэропорту с плохо читаемой отсюда надписью «Буденновск».

банья тропа. Здесь много кабанов, лис и зайцев, вообще самой разной живности. А какие у нас тут перепела водятся! С каким райским хлопаньем крыльев вылетают они самым неожиданным образом из лесопосадок. Вспугнешь их ненароком тихой беседой с товарищем, и холостое движение куркового пальца тебе обеспечено. Но то со мною раньше бывало, когда я считал как бы подбитых перепелов, а сейчас мне так захотелось до пятницы слиться с природой. Почувствовать ее неразобщенность со всем, что окружает меня. Прожить суть слов — «вкусить свободы». Сбросить с себя все ограничения, предварительно, конечно, осознав, что таковых в природе нет ни в одной из ее сторон и, следовательно, во мне тоже — нет. Нет расстояния от моей кожи до природы целого, я есть воздух, и в этом

воздухе каждая птица, поднятая задачей, одной лишь ей под силу. Я есть — муравьиное сообщество, полевая мышь, божья коровка, куст сорняка и молчун-валун подле него... Более того, я есть все, чего не вижу в одну или в другую сторону по причине удаленности лет, своего незнания тончайших перегородок миров, за которыми прячется оказываемое на наш мир влияние...

Это странно — продвигаться сквозь растения выше тебя ростом. Сразу всего столько сокрытого становится. Казалось, в кукурузном поле застыл чей-то шепот, разобрать который тебе не под силу.

Я сбросил китель.

Оставшись в майке, почувствовал ветерок, ласково обвивавший меня, затем и майку снял. Закинув ее в траву, воздел к небу, к высоко парящим графитовым птицам голые руки и, сжимая кулаки, поведал небу в мельчайших подробностях, которые выразить мог только отчаянный крик, всю свою солдатскую историю, от начала на станции Вапнярка до дня четвертого, сегодняшнего, за которым следует пятый — день отлета в Ейск. И когда из меня вышло невидимыми сгустками все, что тяготило эти дни, я почувствовал подранное криком горло. Будто рашпилем по нему прошли. Мне даже показалось, что сейчас непременно хлынет горлом кровь, которую не остановить марлевой повязкой. Но нет. Вместо крови я увидел то, чего до сих пор не замечал, хотя все это окружало меня во все те дни, что мы здесь, в лагере под Буденновском.

Кукуруза пожелтела, посохла и на заходящем солнце казалась золотисто-розовой. Взвесь вокруг початков и мошकारа тоже томилась в золоте. Найти молочные или сладенькие, как мы их тут меж собою называем, початки с бледно-зелеными зернышками было делом непростым, вот если бы раньше дней на десять, можно было бы много собрать. Но я и той кукурузе, которую срывал, был рад. Чувствовал, что мне она сейчас как охотнику дичь — позволена свыше.

Неужели природа имеет свою историю развития, думал я, какую имеет человек, уверенный, что он ее повелитель? Не так, как две тысячи лет назад, тает день, не так плавится солнце, воды не те и плещутся у берегов не так, плотность земли и воздух совсем иные, нежели во времена Каина и Авеля, Кира и Александра... И самое главное — реальность, которую мы принуждены искать, никогда не будет прежней, той, что была мгновение назад. Все ли понимают и чувствуют, как сейчас я, что солнечный диск не просто заходит, что заход его — обещание заменить состав атомов, плотность межзвездного пространства, а следовательно, и еще недавнее положение

вещей? В том числе и моих, до которых, кроме меня, никому нет дела. Может быть, было бы дело моим родителям, если бы они знали обо всем случившемся со мною, но так как они ничего не знают, ни о чем не догадываются, тут и говорить нечего.

Увлеченный сборами кукурузы, я не заметил, что кто-то проявляет интерес ко мне и моим тихим мыслям, я бы даже сказал, большой интерес.

Заяц, в точности такой же, каким его рисуют в детских книжках со следами застывшей манной каши поверх рифмованных строчек, встал во весь свой заячий рост аккурат посреди тропы, сделал вид, что он есть, а меня – нет. Что я такой, какой я есть, положительно излишек природы, чья-то выдумка. И он даже знает чья. Вот голову пушистой покрутил, удивился, вздрогнул, стрельнул ушами, поймал что-то далекое – зайкино-мазайкино, обернулся вполне по-союзмультифильмовски, замер – и тут только как бы приметил меня. Надо ж, хитрец какой!.. Я восторгаюсь его актерским дарованием, я восторгаюсь тем, как заяц опомнился одним лишь черным блестящим глазом, как по шубке его прошел легкий озноб, как он охнул предынфарктно и тут же подался олимпийским прыжком в сторону, за спасительный кукурузный занавес.

Недалеко от меня второй привод, самолеты идут часто и низко, я вижу их серебристые и камуфляжные подбрюшья, когда с дополнительными баками горючего, когда с бочонками реактивных снарядов, когда налегке – без того и другого; вижу ослепительный свет фар у передних шасси – еще один глаз навывкате, еще одно солнце, вижу красные звезды, номера бортов и понимаю, что больше самолеты меня не интересуют, мне без разницы теперь, какой борт пронесется над моей головой. Семьдесят девять в камуфляже или восемьдесят – в серебре. История под кодовым названием «Крылья родины», похоже, оборвалась по независящим от меня обстоятельствам. Хотя почему по независящим?

Я покидал собранной кукурузы в китель, завязал его рукава и пошел с добычей к оставленному ведру. Возле ведра развязал рукава, освободил китель от кукурузы. Встряхнул его хорошенько и надел. Взял с собою нож-лисичку, пошел собирать ветки для костра. Я еще никогда в жизни не разводил костер для самого себя. Это совершенно дивное чувство, это тебе не яичницу готовить в воскресный день, пока мама спит.

Сделал два шага по узенькой тропке и... наткнулся на нее!

Она – хозяйка положения. А я? Кто я такой? И правда, излишек природы.

Звериное чувство подсказывает мне, чтобы я не двигался. Не сходил с места. И я стою. Играю в «замри».

У нее женские глаза, это вселяет надежду.

Гадюка шипит, пасть открыла розовую гуттаперчевую, из которой на поток поставлены все ужасы мира, жало свое раздвоенное устрашающе мне демонстрирует, носовые отверстия, сочащиеся ядом зубы, но не приближается, только приподнимается выше и выше, чтобы лучше разглядеть меня. Она уже почти напоминает посох ветхозаветного пророка, а я все ишу в ней ту видовую пружинку, благодаря которой гадюка, покачиваясь, поднимается. Я понимаю, что эта пружина – ее суть и суть женских сапфировых глаз с голубой поволокой, полных ненависти, и смертельного броска, если таковой последует. Я стою, но так хочется отступить на пару шагов, что только рука моя с ножом-лисичкой об этом знает. Тварь библейская в какой-то момент, наливаясь антикварной бронзой, простила меня, уползла тяжело за медлительный и ненадежный куст.

Отстояв место Адама и Евы, я переключиваю складень из одной руки в другую и вытираю о бедро взмокшую ладонь. Она говорит мне, что секунд может быть несколько, а мгновенье – всегда одно.

Я ставлю ведро на закопченные кирпичи, дождавшиеся меня здесь с прошлого раза, вместе с картонкой, оторванной от ящика из-под тушенки, спичечным коробком соли грубого помола и лопнувшей на «бабьем лете» гитарной струной.

Я зажигаю свой личный огонек. В розжиге активное участие принимают скомканный кусочек «Красной Звезды» и точная копия «ленинского» шалаша то ли в каком-то заливе, то ли в каком-то разливе. Я еще в школе был мастер по таким шалашикам. Зачарованно ишу в вековечной пляске разыгравшегося пламени историю возникновения всего сущего. (О, как быстро летит время от первого прирученного костра в далекой иберийской пещере до колымских просторов, украшенных лагерными кострами и девизами на кумаче.)

Огонь – поэт земли, открыватель человеческих бездн. Вот кто настоящий владыка судеб! Огонь, объединяющий мириады таких же и совсем других огней. Неужто это я его развел?!

Он пляшет, режет глаза. Но я по-прежнему не в состоянии отвести от него взгляда. Только тогда, когда он откликнулся на ветерок, нелегально прокрадшийся в лесопосадку, я отвлекся от него, откинул картонку с картинкой, на которой изображен улыбающийся хряк.

Освобождаю початки от «причесок», ломаю на-  
двое и кидаю в ведро. Листья с волосами мне еще  
пригодятся: они не только крышку заменят, прида-  
дут кукурузе необходимый аромат полей и свободы.

Только задумался о свободе, сразу же на ум при-  
шло то место из разодранной книги, где князь рас-  
сказывает генеральше и ее дочерям о приговоренном  
к расстрелу человеке, как человек тот считал по-  
следние минуты жизни, как уже почти что готов был  
обратиться в солнечный луч, исходивший от купола  
церквушки, что стояла напротив, но тут казнь от-  
менили, заменив ее на каторгу и... Нет, нет, я не был  
согласен с князем, я и с тем человеком не вполне был  
согласен, я бы непременно жил иначе после всего,  
что случилось, я бы обзавелся самым точным хро-  
нометром, быть может, даже японским, и считал бы  
каждую минуту. Но тут что-то спекулятивное оста-  
новило меня, сработал какой-то предохранитель.

Не делись сокровенным, если не хочешь оказать-  
ся в двусмысленном положении, продолжаю я, но уже  
почему-то папиным голосом и с его же интонациями,  
сокровенное должно оставаться в нас для поддер-  
жания силы жизни. Мне нравится, как мудро во мне  
звучит отцовский голос, и я продолжаю пользовать-  
ся этой выпавшей мне удачей: и не надейся, никогда  
не надейся быть кем-то понятым после твоих объ-  
яснений. Объяснять себя тебе можно будет только  
самому себе. Долго, мучительно, без точек начала  
и конца, зато в серединке разодранной книги, до-  
ставшейся мне от замполита. Перед глазами встала  
Швейцария, дорога в горах, осел, о котором рассу-  
ждал больной князь, только почему-то осел у меня  
никак не походил на швейцарского — все больше  
на того ишака, которого я имел счастье встретить  
в далеком детстве под Баку, в поселке Зиря. А еще...  
я так напряженно думал о том, что обиднее всего,  
как эти люди, пекущиеся о порядке, о славе отече-  
ства, воспринимают созвучный твоей душе настрой,  
принимая его не более чем за фикцию, за подрост-  
ковое желание выделиться. Да у них на уме одно  
только — чтобы все были похожи друг на друга. Как  
жаль, что наши параллельные улицы меня к этому  
не подготовили.

Кукуруза варится долго. Буду глядеть на огонь,  
на поля, на дорогу, и объяснять себя себе голосом  
отца столько времени, сколько захочу. Я — часть  
природы. А совсем не ее излишек. Будь это не так,  
разве змея уползла бы? Я бы и раньше это мог по-  
нять, но раньше у меня не было возможности почув-  
ствовать это.

С каким бы наслаждением я бросил в разыгравше-  
еся пламя свой дневник, если бы мне его только от-

дали!.. И хотя мне дневника моего решительно никто  
не собирался отдавать, я представлял себе, как рву  
из него страницу за страницей, затем разрываю на  
части и бросаю в костер. Все, до последнего слова.

Мне показалось, я объяснил себе себя: непонима-  
ние — вот причина того, что случилось, и убедился  
на примере ритуального сожжения своего дневника,  
что понимание в нас возросло раньше непонимания,  
что, может быть, пониманию мы в конечном итоге  
и обязаны всем. Смогли же мы понять огонь.

— Я слышал, у кукурузы всегда четное количество  
зерен, не пробовал сосчитать?

Надо же, отыскал меня. Наверное, дневальный  
сообщил ему о моем местонахождении. Кроме него,  
никто не знал, что я ведро с собою прихватил.

Молчу, подбрасываю ветки в пламя. Хочется спро-  
сить его: «А ты не боишься, что из-за меня и тебя  
упекут? Смотри, улетишь завтра вместе со мной».

— Второму ведру меньше чем за месяц хана, — впло-  
не искренне сокрушается Андрюха Супоросов.

Понимать-то я, конечно, понимаю, что каптер-  
щик должен быть искренним, когда дело касается  
инвентаря, сам же говорю:

— Тебе что, жалко? Еще немножко — и этой кукуру-  
зой только свиней кормить. — Для убедительно-  
сти показываю ему хряка на картонке.

— Завтра пятница, — говорит так, будто он этот  
день недели взял из кино, а не из моей и своей  
жизни.

— А я думал — четверг. Выходит, ты все знаешь?

— Филинн рассказал.

Встаю, выпрямляюсь, бросаю картонку и отряхи-  
ваю руки.

— Выходит, старшина в курсе.

— Представь... — Он тоже поднимается с корточек,  
тоже выпрямляется и вслед за мной отряхива-  
ет руки. Только делает это соразмерно своему  
баскетбольному росту и с малороссийской лен-  
цой. — Жить можно везде. Там тоже.

Где-то я это уже слышал, где-то читал.

— У меня не хватит сил. Я был заточен на два года,  
когда уходил.

— Тю-ю, дур-рак!.. — запнулся от превосходства  
в генах. — Моего деда до самой смерти вождя за  
колючкой конвой водил. Ничего, выжил, номер  
тыща-какой-то-там. Сейчас ему девяносто че-  
тыре, курам головы отрезает, мёд собирает, го-  
рилку гонит такую, что председатель колхоза со  
стула на пол сползает.

Его слова должного эффекта на меня не произ-  
водят и отклика не вызывают. Просто очередная  
сказка, чтобы меня поддержать. И потом, при чем



— Казним! На колени поставим! Подло!

«Оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор».

Некий князь представляется черномазому попутчику голосом Пупка. А некий чиновник, кажется, Лебедевым его зовут, голосом Гансика: «Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, говорит человек, который знает всех в Петербурге».

Пупок защищает, мол, сейчас побегу в штаб с поименным списком.

А тот, кому два с половиной миллиона после смерти отца должны достаться, ну, черномазый, Пупку рассказывает про какую-то великую женщину. Пупок отбивается от личного состава из последних сил, так что Пупка совершенно теперь не отличить и от чиновника, и от князя с легкой бородкой.

Я не хочу всего этого слушать, читать не сосредоточившись тоже не хочу, больно классная затравка в вагоне, пойду-ка я лучше в столовую к нашим поварихам, может, булочкой угостят. Франсик вчера приносил совершенно замечательные булочки с корицей, приготовленные для офицерского состава. Правда, потом он признался, что ему за них натурой расплачиваться пришлось, но, может, мне свежет, за так тетки булочкой угостят. Пока же я еще сержант Мамед. Или уже нет?

С этим вопросом и отправился в столовую.

Если говорить на летном языке, «нижнего края» не было вообще. Не иначе как по праздничному случаю вселенского масштаба, чистейшее небо вывалило все свои звезды, но идти под покровом роскошных небес оказалось много сложнее, чем под рваными рыхлыми тучами над самой макушкой. И я только сейчас понял, почему бывает так, что повседневность нам часто ближе праздника, хотя задавался этим вопросом довольно часто. Когда тебе что-то предлагается свыше, а ты даже не знаешь, что это и как тебе со всем этим быть, и из-за страха не пользуешься выпавшей тебе удачей, неизбежно погружаешься в серость, а потом привыкаешь и к мраку, к несчастному положению своему, и тогда свет тебе только помеха на пути. Опасаясь отчего-то небесного хода светил, я вспомнил, как кто-то когда-то, еще в Баку, уверял меня, что если вечером или ночью задрать голову кверху и продолжать идти, непременно покажется, что звезды текут. И что они не только текут, но еще и как бы разговаривают с тобой, делятся своими водородными новостями. Особенно хорошо, добавлял этот

кто-то, кого я сейчас никак не припомню, звезды текут в парковых аллеях, когда слева и справа тянутся стеною деревья.

По правую руку у меня реденькие тополя, за ними дикая непроглядная поросль, а за нею бетонный забор с растиражированным рельефным рисунком в виде ромбов, так понравившихся всей нашей необъятной родине, по левую — открытое ветрам пространство с футбольное поле, на краю которого спортивная площадка с турником, брусьями, скамейкой для качания пресса и двумя лупингами. Так что, может, не стоит поднимать голову, вдруг потом звезды потекут криво или в обратном направлении, или убежит одна, соскочит с небосвода, пользуясь случаем. И что я тогда буду делать? Здесь, под Буденновском, я не раз видел, как падают звезды. Грустное это зрелище. Я нарочно не загадываю желание, когда они падают. Все загадывают, а я не могу. Мне так не надо. Я вообще не люблю из праздного любопытства на небо смотреть. Но сейчас любопытство одержало верх, и я на ходу запрокидываю голову и убеждаюсь, что да — звезды текут. И так волшебным образом они текут в своем непознаваемом порядке, с одним единственным обязательным условием, которого ты никогда не узнаешь, будто этих представителей Власти кто-то вывел на выгул, и, кажется, вот-вот — и ты услышишь их голоса. Правда, идти долго и смотреть на небо у меня не получается, давит невыносимое количество вариантов прочтения собственной ничтожности при полном осознании величия бесконечности. (Какой же смешной кажется наша обнесенная забором часть.) Единственное, что спасает меня от крайнего разочарования жизнью, — это обнаруженная на небе Большая Медведица. Всегда легче, когда находишь то, что тебе знакомо. Когда есть от чего оттолкнуться, и бесконечность можно нанести на карту.

Показались три окна, светящихся безжизненным лабораторным светом. Они и вчера так светили, и позавчера. Кажется, меня не будет, а они будут все так же светить без напутственного слова. Связать бы их с Большой Медведицей, но, боюсь, не хватит никакой евклидовой и неевклидовой геометрии, никакой высшей математики. В таких случаях лучше оставаться с таблицей умножения начальных классов. Тетрадка в клеточку и время под звонок школьного сторожа. Сколько раз надо взять по сорок пять минут, чтобы добраться до XXI века? Хватит ли у меня запала? А у мамы с папой? У них хватит? А какие они будут? Неужто такие же, как сейчас, только чуточку постарше? Говорят, если мы

любим друг друга – мы вечны. И всегда будем такие, как на фотографиях в молодости?..

Я задумался о писателе, чья книга без обложки, без начальных страниц, зато с крепким переплетом, лежала на моей тумбочке. Может, хорошо, когда не знаешь имени писателя? Может, так даже лучше? Больше шансов понять, чего стоит его книга. За что он мстит? Наверное, за то, что каждый из нас думает лишь о самом себе. Разве не это подрезает нам крылья.

– Что, сержант, за сладкой жизнью пожаловал? – улыбается Серега возле кривой кухонной двери, обитой наглухо жестью с такой же поехавшей, как сама дверь, надписью красной краской «Служебный вход», что уже смешно, когда ты на службе.

– А ты зачем, водило? – глухо, с подначкой, которой на самом деле не желал, бросаю я. (Вон даже и голоса-то своего не узнал.)

– Меня по пьяному делу радостей службы лишили, пришел прощения просить. Ага... – Бесстрашно вылез из-за страшных линз всеми кусочками своего существа и в глаза мои вперился, решил кошеевой силой со мной поиграть.

Нос его при этом все равно столь по-простецки курнос, что и все лицо от того каким-то заранее несерьезным кажется, сколько бы он ни щурился залихватски, ни посылал вперед себя бензиновый дух как некое преимущество над другими в нашей нелегкой армейской жизни.

– А в дверь постучать не пробовал? – возвращаю себе прежние свои позиции.

– Постучать? Да у тебя манеры, сержант. – Рот скривил на блатной манер и золотую фикса мне продемонстрировал. – Иную дверь лучше попридержать. – Носком ялового сапога показал, как именно.

– Так ты у нас Сократ, – удивляюсь золотоносной находчивости его. Правда, заметив, как он брови белесые нахмурил, спешу объяснить успешному уже обидеться, кто такой Сократ.

– И за что мудрецу такая непруха, – сокрушается Серега, будто Сократ вчера цикуты принял. – Так ты в очередь, что ли?

– Если тут очередь.

– Только по «песым часам».

– ?

– Нуль часов, нуль минут, одни спят, другие прут... За булочкой идут. Ага... – пояснил он. – А ты, сержант, на стакане?

Я задумался, на всякий случай спросил:

– Когда, сейчас?

– Подогреть тебя?

– Сейчас?

– Не-а... Сейчас лучше воздержаться. А после... – Он вскинул руки и пальцами поиграл, точно хирург в перчатках.

– Я, наверное, пойду, мне не до того сегодня. – И я уже собирался уходить.

– Известное дело, когда спаленный.

– Что ты имеешь в виду?

– А то, что в твоём положении, корефанций, честно думать – прямая дорога в дурку. Да... – Пилотку сдвинул на макушку.

Да, уйти вряд ли уже получится, стою, думаю: хоть бы никто дверь не открыл и очередь вперед не продвинулась.

А Серега продолжает сагу:

– Валюха-то, конечно, хоть куда, но так бьется, так бьется, как море штормовое в камень. И все-то у нее через край получается, даже имена путает, когда высоко берет.

– И часто она высоко берет? – спросил я тоном новобранца, застывшего у дверей медкомиссии. (Даже как-то неудобно стало пред кем-то, кого я не знал, но очень надеялся повстречать в своей жизни.)

– Я и Сенечкой, и Васенькой успел побывать... Ага... А Зинка-картинка, вся из себя, ей, видите ли, мой запах бензина в ноздрю бьет. Да... Упрямая она. Что не по ней, сразу на меня заразу спускает: «Слепцов, – говорит, – ты, видать, бензина казенного заместо водки кушаешь».

Я смотрю на его нос и ловлю себя на том, что уже улыбаюсь. Он не знает, отчего я улыбаюсь, и тоже улыбается. Улыбается и все делится со мною подробностями тайной жизни нашей столовки, о которой я, иностранный шпион, даже не догадывался. Вот что значит на полетах по три смены трубить.

Я представил себе девушку, похожую на Мирей Матье, и принял окончательное решение – булочками придется пожертвовать, но именно в ту самую минуту, когда я сказал себе: «Ну не судьба, старик, не судьба», за дверью послышались чья-то шаркающая поступь и пожилой голос, выводивший поперек богатого репертуара французского дивы что-то из «Кубанских казаков». Итогом этой музыкальной прогулки стало шварканье чего-то металлического, видимо, противня, обо что-то чугунное, должно быть, плиту. Затем шаги начали удаляться вместе с песней горячей молодости.

– Что-то булочки сегодня рано пошли... Да... Наперед, значит, пекут. – Серега приложил палец к губам, чуть приоткрыл дверь, просунул неуставную вихрастую голову с сидевшей на ней

пилоткой. Повернулся... Лицо счастливое от уловленных кухонных запахов.

– Ну не, ну ты чуешь, командор?! Повезло нам с тобой, сегодня бабка на кассе. Стой здесь! Я сейчас... – И за дверь.

Я стою, ловлю кухонное тепло, запахи, свет... Через щелочку так много всего освещенного получается, словно все ушли на фронт, позабыв выключить свет...

– А ну, цыц тырить, бензинный поганец! – раздался голос хозяйки смены. – Хошь, штоб дежурному сдала ты?!

– Так я всего-то две булочки... Одну себе, другую – сержанту. В опале он сильной.

– Душа твоя пропащая, Слепцов. Кто ж такой твой сержант будет?

– Которого особисты для Ейска назначили.

– Чернявенький, шо ли? Ой, беда-то, беда!..

– Почему чернявенький? Мамед, иди сюда, покажись...

– У ну, милой, поди до бабы Маши.

– Говорю ж, не чернявый!.. А тебе, баба Мань, все горцы снятся...

Представив себе компанию сладострастных горцев, приснившихся бабе Мане, я снова расплылся в улыбке, мне показалось, про себя расплылся, но, видимо, такие вещи чувствуются, потому что баба Маня сразу задала жару Сереге.

– Ты мне еншо поговори... еншо скажи бабе Мане, шо ей такого стыдного снится!.. Надо ж, и впрямь – не чернявый. А смешного шо углядел, нечернявый?

Я не стал говорить, из-за чего улыбался в душе. Подумаешь, кто о чем мечтает. Мне вон вообще и мечтания уже заказаны.

– Оченна даже инженер вылитый.

– Смотри, любуйся, запоминай – редкий экземпляр. Писатель, между прочим. Про тебя может в газету написать. А улыбается так от смущения, покамест под Валуху твою не попал. – И пилотку свою чуть приподнял и на макушку бросил.

– Ты мне поголодрать, Слепцов, поголодрать еншо...

– Так я ведь только из-за отчаянного положения своего.

– Какое у тебя отчаянное положение, команда бедных родственников? Только и делаешь, шо гармонь свою на четырех колесах туды-сюды гоняешь. А у меня на кафелю будешь бузить, я тя, Слепцов, вместе с твоей баранкой казенной, в противень заверну и следующей смене передам. На чисту расправу до синева, до косточки последней.

Подходя ко мне, баба Маня взяла половник. На всякий случай, наверное, я ведь еще тот кадр, в особенности после того, как Серега меня ей пред-

ставил... Грудь необъятные, как наша родина, выпятила и давай меня бесцеремоннейшим образом изучать. Только челюстями вставными причмокивает да половничком по ладошке стучит. И полифония тут такая выходит, что не дай бог. А потом вдруг вздохнула баба Маня, с сожалением покачала плохо выкрашенной головой чему-то само собою разумеющемуся:

– Эх... Время, кони, леший!.. Звать-то тя как, миллок?

Я назвал ей свои имя, отчество и фамилию. От удивления хозяйка кухни закинула половник на плечо, точно рыцарь средневековый после ратных трудов.

– Смесь-то каку гжучую господь наворотил. – Половник рядом с плитой установила (тот как живой качнулся, осветил движение хозяйки неравнодушным бликом), газету взяла и кулек из нее свинтила. – Уважаю сильно, кто у Него на задаче...

Я не стал ее разочаровывать, говорить, что уважать меня пока что не за что. А то вдруг булочки мимо кулька. Но не тут-то было. Две булочки плюс третья в кулек легли с гарантией. А какой от них запах корицы утренний! Будто стрелки кто перевел во всей Советской армии, пока она спала.

Серега от зависти в свечу моторную превратился, заискрился весь, как баба Маша мне еще все это пудрой сахарной...

– С тобой, Мамед, – делает он напрашивающийся вывод, – за карточный стол, долги отбивать.

А я стою и думаю, что кулек тот наверняка из рогожинских «Биржевых новостей», вот и запашок болотный с Владимирских углов прилетел.

А бабка мне, ссудив за так булочки:

– Ты милый, волков шерстяных-то не бойся. Главное, по-ихнему не завой, а Господь подсобит...

Я погляжу, ты потаскун домашний, от родителей еншо не отлепился, ну, да ничего, каждому свой срок, свой урок... – И по-бабы улыбнулась чему-то своему сильно отдаленному, будто на родную деревеньку глянула с высоты птичьего полета: вот она, крыша родимая, а вот и он, первый урок ее – Ванечка-гармонист.

Запив булочки неоднократно поженным красnodарским чаем, потяжелев и разомлев в кухонном тепле, решили мы со Слепцовым выкурить папироску на спортплощадке. Пока шли, все рассказывал мне о бабе Мане, о Валухе с Зиночкой. Выходило так, что бедные люди они. И ничего другого не оставалось им, как из Чкалухи сюда к нам переться через поля да лесопосадки, чтобы мужиков своих, пьяных очертенелую, обрыдлую, кормить.

- Один мотоцикл с люлькой на всех, представляешь, как бухнут, так его и переворачивают... Потом, конечно, чинят всем кагалом, а как он затахтит – снова переворачивают. Ага...
- Ты-то сам машину дивизиона связи как опрокинул? Морщится. Молчит. Потом прощает себя не без легкого выпендрежа, конечно.
- Хотел «Урал» напоследок погонять.
- Надоел газик?  
Очки поправляет, которые у него с короткого носа сползают.
- На «Урале» за руль взялся, на газок надавил – и мама дорогая!..
- Понятно, – говорю, – увлекся скоростью.
- Еще как... – Смеется, пилотку поднял и кинул на макушку.  
Мне бы такую жизнерадостность, только без фиксы золотой.
- Мы сели на скамейку между брусьями и лупингами. Серега закурил папиросу, сделал пару затяжек и, держа дым в небритых барсучьих щеках, передал мне. Пока я втягивал в себя беломорину, он поинтересовался, что я думаю делать. А что мне делать? Мои дела под чертой.
- Угораздило же тебя, корефанций... А почему ты тете своей бандероль не отдал, была же такая возможность?
- Они с братом в отпуск ехали, на Черное море, зачем им моя бандероль с описанием того, что интересного здесь у нас происходит?
- Знаешь, когда я твою тетю с братом подвозил до автовокзала, она рассказала мне про условие, которое ты выдвинул предкам, ну, не писать, не приезжать и все такое, и что она единственная не выдержала этого условия, взяла и приехала... К тебе, понимаешь?.. Вот я и думаю, ей бы твоя бандеролька в тягость не оказалась, довезла бы до дома.
- Мне бы оказалась...
- Ты и вправду так еще думаешь?  
Да, я так думал, а еще я думал о том, как бы тетя не рассказала ему про мою однокурсницу, ну, ту самую, из-за которой я часы на спор в бокале шампанского утопил.
- И что еще моя тетя тебе рассказывала? – интересуюсь я, досадуя не столько даже на тетю, сколько на чрезмерную доверчивость бакинцев ее круга и поколения.
- Ничего такого. А вот особы о тебе полялякали, когда я их насчет винограда возил.
- Погоди, какого винограда? – запутался я совсем.
- Взятку они готовили одному полезному генералу здешним виноградом, знаешь, такой зеленень-

кий, длинненький, вот я их и подвозил к базе договариваться, там ящиков на двадцать пять будет, если не больше. Ага...

- Я вспомнил, как они все чего-то подсчитывали на бумажках, все чего-то переводили на килограммы, как рвали свои подсчеты на маленькие кусочки.
- Дорогой назад трепались о разном. Говорили, кое-кому, ты знаешь, кому, должны генерала дать, если, конечно, все хорошо будет. О тебе тоже говорили. Ага...

Сердце заколотилось где-то в горле, хотел спросить его, о чем именно они говорили, и не смог. Серега меня понял, продолжил:

- Говорили, что пока еще не решили, что тебе подходит больше, не разобрались еще, в Ейске ршат. Да...
- Это же не все.
- А ты все хочешь? Я же тебе рассказывал про двери, а ты так и не понял. Ладно. Раз уж ты такой. Прапор вспоминал, как у тебя пальцы на допросах дрожали и ты их все спрятать норовил под стол, что ты уже готовенький и интереса ни для кого не представляешь, а старший лейтенант ему, что такие, как ты, – отходчивы... Что на последних допросах ты ему сильно не понравился. Тогда я им и вlepил, говорю, если бы они меня сгресли, меня бы даже не хватило на то, чтобы пальцы дрожащие спрятать. Тут-то они и начали смеяться. Настроение у них хорошее было. Старший лейтенант мне говорит, может, ты тогда и рекомендацию ему дашь устную, а я ему – святое дело.
- Ну, не тяни...
- Чего не тяни? Сказал, что думал.
- А они?
- Они мне собачку подарили, у которой голова качается. Ага... Так что, может, и обойдется все, Мамед. Уйдешь, как все, домой. Особисты передадут тебя гэбэшникам, те попасут с годик-два и вычеркнут из черного списка. Ладно, пойду, попробую «угол» подержать. – И направился к брусьям, так медленно, будто по лунной поверхности шагал, а не по спортплощадке. – А ты пыхай, корефанций, пыхай. Тебе на пользу.
- Слепцова на брусьях, держащего «угол», я не запомнил. Я вообще не помню, как он исчез. Как я ушел со спортплощадки.

В кубрик вернулся, когда все давно уже дрыхли, даже те, кто до петухов возился с дембельскими альбомами. Даже Пупок, правда, уже без легкой бородки и вовсе не белобрый, как князь Мышкин. Храпел он так, будто не было до того никакой ссоры

на плаце и последствия ее ему не грозили в будущем. Наверное, Филин постарался, расставил все по местам. Он в таких делах со стажем. Я сам видел, как он в туалете один массовую драку остановил.

Спал я плохо. Можно сказать, практически не спал. Из-за нервного состояния каждые пятнадцать минут вставал, бегал к дереву, чтобы не идти в сортир, который у нас за лазаретом. Дневальный, примостившийся на табурете таким образом, чтобы можно было положить руки на тумбочку, а голову на руки, сначала просыпался, глядя на меня глазами колхозного сторожа, у которого всегда наготове ружьишко, заряженное солью, но после, попрыгав к моей беготне, столь безмятежно давил на массу, что хоть выноси за рубль двадцать всех вместе с койками. Я, конечно, мог бы задать ему трепку по старой сержантской памяти, но разве это теперь должно меня интересовать. Подумаешь, спит дневальный. И что? Фигуру ему жуткую и страшную за то нарисовать?

Я лежал, уставившись в металлическую сетку верхней койки, за которой был подранный полосатый матрас, клейменный исчезающими цифрами, со странными ржавыми пятнами-озерами, с четко обозначенным задом Фокина, и думал о том, что, наверное, в нашу русскую литературу иначе и не попадают, как через жертвоприношение. Вновь и вновь задавался я вопросом, не есть ли то, что случилось со мной, своего рода «золотая арка». Если так, то и смотреть на все со мною произошедшее следует иначе, чем я на все это смотрел. Может, если я изменюсь, у меня хватит сил не только на два года, но и на все пять. И прав окажется Супоросов: жить можно везде, и там тоже.

Как другие считают овец, облачившись в шелковую пижаму, так и я начал считать великих жертвоприносителей нашего Синклита. И хотя знал, что их не два и не три, что вся наша классическая литература из них, можно сказать, и состоит, почему-то вспомнил в полудреме лишь Пушкина с Лермонтовым, а когда начал припоминать еще, запнулся и от безвыходности поставил по-родственному, за двумя хрестоматийными нашими титанами, своего дедушку-драматурга, расстрелянного в тридцать седьмом. А что тут такого? Кроме меня и папы, о нем никто не вспомнит, почти никто, но, может статься, в том-то и есть мудрость — вспоминать хотя бы изредка тех, кого уже никто не вспомнит. А ранжир какое тут значение имеет. Великих и без нас помянут. Есть и еще одна выгода, кроме родственной, по-человечески понятная. Может, точно так же и обо мне кто-то вспомнит. И тогда я, вернее, тот,

кто окажется мною за пределами этой жизни, залетит, вернется солнечным лучом в некое далекое утро, за некое окошко, за которым все будет, как когда-то давным-давно — запах кофе и подогретого в тостере хлеба. А потом я упустил момент перехода. Ровно на какой-то женщине, лица которой не запомнил и имени не знал. Зато я запомнил все, что видел во сне.

И огонь, в котором вспыхивал и играл другой огонь. И в этих огнях между двумя дотлевавшими головнями книгу с моей тумбочки. По идее, она должна была бы хорошо гореть, но она почему-то отказывалась гореть. И обстоятельство это было бы страшной банальностью, если бы вокруг плясавшего огня не охали да ахали Луценко с прапорщиком, которые, наконец восполнив друг друга, стали одним человеком. Одним счастливым существом. Бедный замполит Тихонов всячески порывался спасти книгу, но особысты, обретя одно сильное тело на двоих, легко отражали его попытки, оттаскивали от неизвестно откуда взявшегося камина, за которым присматривала порочная женщина античной красоты. Все звали ее королевой, но на самом деле она была Надеждой, хотя никаких надежд не подавала никому. Даже более того, надо всеми глумилась. Но все этого почему-то не замечали, в особенности Тихонов. Замполит весь обратился в неподвижный взгляд, глядя на нее. «Надя, Надя!..» — вышепывал он, полный любви и новозаветного всепрощения. Когда мне объявили приговор, я даже не слышал из-за барабанного боя, в какой-то момент превратившегося в унылый скрип сетки — Фокин повернулся набок. А потом, когда я почти проснулся от вскрикнувшего в ужасе Пупка, уже шли следствие и суд. Моим последним желанием на том суде было выгнать какого-то человека из книги, чтобы избежать гильотинирования. Но так как выгнать его из книги было решительно невозможно, равно как и оказаться не гильотинированным, я не преминул проснуться. И мне казалось, что сделал я это очень вовремя. Я это понял, когда убедился, что книга моя лежит на тумбочке, на том самом месте, где я ее оставил. Для меня это было как бы знаком.

Я поднялся с койки, глянул, что там с нашим воинопеченным князем.

Бывший секретарь штаба третьей эскадрильи, а ныне командир солдат срочной службы все той же эскадрильи спал безмятежным сном праведника, которому всадили в грудь тринадцать пуль. Лицо его было желтым, под цвет того тумана, мимо которого несся поезд в неопознанном пока что мною романе. Дыхание ровным. Что же такое приснилось ему, из-за

Прежде чем пойти в столовую на завтрак, я решил обойти все места, которые для меня столь много значили. Продолжением которых я себя считал теперь. Постоять, покурить, подумать, быть может, дать им обещание на веки, если они, конечно, того обещания потребуют. Только одно место я не захотел проведать — где вчера разводил костер.

чего он вскинулся вдруг на койке? Может, «дрожжи» княжеские покоя не дают? Может, ему распятие поднесли под самый нос? Неужто такого козла и впрямь возможно полюбить? А если и даже наверху полюбят, что тогда стукачество Пупка есть, как не форменная жертва? Не потому ли он всегда будет оправдан? А особыты? Что, и они тоже?

Тут из дальнего угла кубрика, как из комнаты отдельной, донеслось:

— А папаня его запойный алкоголик. — И сказано это было так, словно человек не спал, беседовал с очень близкими ему людьми и, дождавшись подходящего момента, вставил наконец словечко промеж разговора.

Кто этот новоиспеченный стукач, спрашивал я себя, Гансик, Франсик, а может, Гапон, он ведь тоже в той стороне кубрика лежит? Нет-нет, какие из них дятлы-стукачи? Это просто Морфей темный над ними кружит. Вообще у нас чего только ночью не услышишь. Один раз кто-то даже свистел во сне. Точно самого себя через сорок лет с другой стороны улицы свистом окликал. Был среди нас даже

один штатный лунатик по кличке Альпинист, да что он, в нашем подразделении больше года служил специальный хромоножка с выпученными бабьими глазами, прозванный ребятами Жоффреем де Пейраком, в шутку мы его все грозили десантникам спихнуть в качестве «налога на дружбу». Кого только в нашу армию не берут и кто только от нее, родимой, не косит. Я слышал, одного парня по второму разу призывали, если бы не беременная жена, вряд ли отбился бы. Но, может, это анекдот, тут я не уверен.

До гимна оставалось полчаса. Я сложил в обычный целлофановый пакет зубную щетку, помазок, безопасную бритву, книгу с крепким корешком, но без обложки, успевшую побывать в огне, фотографии с героями нашего века, среди которых есть кто-то, кого здесь знают как сержанта Мамеда, пять пачек «Шипки» и тихонечко вытолкнул себя из барака в рассветное будущее, не сулившее мне ничего хорошего.

Прежде чем пойти в столовую на завтрак, я решил обойти все места, которые для меня столь много значили. Продолжением которых я себя считал теперь. Постоять, покурить, подумать, быть может, дать им обещание на веки, если они, конечно, того обещания потребуют. Только одно место я не захотел проведать — где вчера разводил костер.

Пятница наша от той, что на гражданке, мало чем отличается, полеты отбиты, с утра все только и думают, что о выходных днях. Все, кроме одного человека, открывающего мне сейчас дверь в полутемном коридоре барака. Сколько бы Зверев ни думал о выходных, он всегда будет похож на понедельник. На воинствующий понедельник. Не зря, наверное, как только я вспоминаю о нем, представляю его себе в шлеме, маске, противоперегрузочном костюме и в тяжелых летных ботинках.

Каким же было мое удивление, когда начальник учебной части полка предстал передо мною с голым торсом и махровым полотенцем канареечного цвета на шее.

Волосы у него темно-русые, жидкие, лоб в залысинах, нос тонкий, но с вывернутыми ноздрями. Плечи обильно обсыпаны веснушками. На почти безволосой груди партийца с большим стажем украдкой поблескивал маленький золотой крестик. Внешне Зверев напоминал римского патриция. Определенно, тога пошла бы ему.

— Леша, кто там? — слышу я сонный голос Леночки, согретой постельным теплом, не успевшей еще даже зубы почистить и накинуть халат.

— По делу пришли. — Фигурант моего дневника стирает остатки пахучей пены (у меня точно такая

же, узнаю по запаху) уголком полотенца с подбородка, при этом далеко его выдвигая. — Что у тебя ко мне?

Я смущен, вспомнил, что писал о нем и Леночке в дневнике. Он чувствует мое смущение, не понимает, откуда оно идет, и потому сильно раздражается. Взгляд становится мрачным, холодным, лицо — с признаками незадавшегося дня. Я слышу за его спиной беспокойное шуршание домашних тапочек. (Ах, ножка не попала с первого раза...) Подполковник выходит в коридор и прикрывает за собой дверь. Смотрит на меня так, будто я ему исковое заявление принес.

- Я не вовремя... — стусевался я. — Простите....
- Говори, чего надо.
- Я тут подумал...
- Слушай, ты же мне не Тузика парализованного впарить пришел. Ближе к делу, джигит!.. Мне еще вещи собирать.
- Мною занимаются... особыты...
- К особистам, — он сотворил лицо, которое наглядно показало его отношение к ним, — я не имею никакого касательства.
- Да, но...
- Никаких «но»!..

И тут меня пробило. Я развернулся, точно погон не носил, родине не служил, и пошел на выход.

Иду и думаю о том, что бараки здесь все одинаковые, и этот в точности такой же как, и в штабе, где особыты гнездо свили, ну, может, только плакаты здесь не висят «Всегда на страже», «Разоружение и мир», «Прошу направить меня туда, где всего труднее». Но филенка имеется. А это, видно, очень важно для всей страны, чтобы непременно под филенку дело шло. Я подходил к открытым дверям, когда он заорал:

— Стоять!

Ну, встал, повернулся, а что мне еще делать было. Жду, что дальше. Однако своего изменившегося отношения к нему скрывать не собираюсь. Не застрелит же он меня.

Подполковник дышит тяжело. Вывернутые ноздри трепещут. Глаза бешеные. Не ожидал он такого. Привык, что все его героем считают.

- Видимо, не зря тобою особыты занимаются. Характер свой знаешь где показывать будешь... Что ты хотел, чтобы я за тебя хлопотать пошел? Как ты себе это представляешь?
- Простите, товарищ подполковник, не подумал.
- Простите!.. Если бы ты умел думать, ты бы свою писанину в сейфе эскадрильи не спрятал бы всем на ущерб.
- У меня к вам всего один вопрос...

Он перевел дыхание.

— Валяй, джигит, только без трагедий. Я трагедий не люблю.

— У меня шанс есть, как вы думаете?

— Слушай, я не школьный учитель, обнадеживать не стану, могу только посоветовать тебе: если сделал выбор, назад уже не прись. Назад дороги нет. Иначе будешь всю жизнь жалеть, что назад развернулся.

— Я вас понял...

— Вот, видишь, джигит, как все в этой жизни просто. А что до твоих дневников, скажу так, я тоже против, чтобы солдаты вели дневники. Дневник — жанр неопределенный, всегда выходит без гарантий. Сам подумай, прочтет кто-нибудь твою писанину на гражданке — и длинное лицо ему обеспечено.

Возражать против слов Зверева мог только тот, кто не видел его со стороны. Совершенно переменявшегося. Не по-армейски потеплевшего. Даже голос его теперь звучал иначе.

— Леша, ты что там кричишь-расходишься? — В коридор высунулась Леночка, Елена Викторовна, сама превосходно одаренная не только фигурой, но и голосовыми связками.

Помню, какой втык она мне устроила, когда кто-то из моих салаг принес ей в лабораторию убитую шарповскую кассету.

Мне казалось, все слова обо всем «прекрасном и высоком» Зверевым были сказаны, но вот он, несколько помявшись, что придавало ему еще большей теплоты и человечности, спросил меня уже как бы и не по службе:

— А скажи-ка мне, джигит, кто ты по национальности?

Не мешкая, я удовлетворил его любопытство.

Зато замялся подполковник, глянул на меня так, точно на случайно обнаруженное пещерное ископаемое, появление которого могло изменить устоявшееся в научных кругах мнение о доисторических временах.

— Первый раз такого вижу, — вынес он мне свой вердикт, а потом: — Ладно, — говорит, — пойду вещи собирать. — Да так это сказал, будто его дожидалась не Елена Викторовна, но сама Ева.

Я был уверен, что слова Зверева касались не столько моей национальности: я — полукровка, «полтинник», такие вещи остро чувствовал, — сколько службы в армии, и их вполне можно было бы счесть за роскошный мужской комплимент. Слова его укрепили мой дух. Подумалось даже, что из-за одной этой скрытой похвалы стоило встретиться с героем нескольких необъявленных войн.

Самолет, улетающий в Ейск, был Ан-26. Обычно к пятничному журфиксу подавался Ан-12, но вот сегодня почему-то решили подать этот фаэтон.

Я не стал подходить к машине слишком близко. Выбрал ту же стратегию, что и со змеей в лесопосадке. Не знаю как, но я почувствовал, что многое зависит от того, сумею ли я правильно выбрать дистанцию и удержать ее.

Я стоял таким образом, чтобы в случае чего мог бы быстро пойти или добежать, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства, до самолета и в то же время быть незаметным для тех, кто уже в нем, и мог бы прильнуть к иллюминатору. Еще я встал таким образом, чтобы летчики, проходившие мимо меня, могли бы меня видеть. Почему-то мне казалось это важным.

Иными словами, я встал ровно в том месте, где заканчивалась дорога, когда заасфальтированная, когда в диком, поросшем былинной травой состоянии, и начинались бетонные плиты аэродрома. Я стоял и стучал по коленке целлофановым пакетом. Тяжелая книжка с князем Мышкиным придавала пакету необходимое ускорение.

Мимо меня по одному, парами и по трое шли летчики двух эскадрилий, шел обслуживающий персонал, состоящий из разных технических подразделений, – радисты, прибористы, оружейники, двигателисты...

В них было много веселости и искреннего воодушевления. Все они говорили о своем, о наболевшем, о том, что первым делом в авиации должны быть самолеты, а все остальное – потом.

Я увидел вдалеке замполита Тихонова с модной сумкой из афганской кожи. Майор был гладко выбрит, бледен, но решителен. Он шел с молоденьким старшим лейтенантом, который что-то говорил ему, наверняка что-то о самолетах. Тихонов едва ли слушал коллегу, тем не менее улыбался, но не словам вещавшего, а как бы про себя, как бы своему. Мне даже показалось, я знал, чему именно.

Когда офицеры поравнялись со мной, замполит поздоровался. Я отдал честь Тихонову. До меня долетел обрывок фразы, которую старший лейтенант договаривал майору с некоторым сожалением:

– ...мне сегодня с женой сходить, а у меня вчера и «сложняк», и «потолок», и еще – бомбометание было...

Я вспомнил, какими обвисшими бывают щеки у летчиков после полетов на сложный пилотаж, когда они снимают кислородные маски, вспомнил, как они ищут стремянку ногой, когда вылезают из кабины. Хотя не все, конечно, вон Зверев, какой по-

прыгунчик, ни одна «мертвая петля», ни один «штопор» его не берет.

В этой цепочке знакомых лиц, казавшихся мне сейчас стихийно разукрашенными масками, я искал и не находил старшего лейтенанта Луценко и его верного оруженосца с тяжелыми деревенскими ногами.

Неужто они пришли раньше всех и уже в самолете? Как мог я их в этом случае пропустить? Этого никак не могло быть. Что мне делать?

На всякий случай я стал осторожно сокращать дистанцию между собою и транспортником. Я подошел к Ан-26 так близко, насколько это было возможно для человека, судьба которого решается в эту минуту.

Прошло еще некоторое время. Пустота внутри меня лишь росла. Тянуло под ложечкой, словно я срывался куда-то вниз. Я снова казался себе маловесными, никчемным. Медной монетой. Все попытки мои вновь обрести чувство единения с природой были напрасны. Я слышал лишь свой пульс.

Живая цепь улетающих оборвалась на нашем старшине, который несся, догоняя товарищей. В одной руке Филин держал свою знаменитую фуражку с самой высокой тульей в полку, даже выше, чем у Пиночета в кинохрониках, в другой – обшарпанный чемоданчик, невольно напомилавший времена освоения целины. Он на полном ходу обернулся в мою сторону. Показалось, сейчас скажет, что-то глупое, но трогательное. То есть то, чего мне как раз и не хватало. – Мамед... – Старшина прилепил назад разлетевшиеся на бегу остатки занятых сбоку волос. – Присмотри за Пупком, а, мне кажется, ему влупят на выходных.

Я хотел сказать старшине, что вряд ли смогу помочь в этом вопросе, но уже обнаружил за ним пустое пространство со знакомым пейзажем и себя в нем, совершенно незнакомого. Резко очерченного.

Мне не было дела до Пупка, я почему-то оставался уверен, что это он навел майора Плисюка на мой дневник. Но, несмотря на это свое убеждение, я не желал ему ничего дурного. Пупок человек неизлечимо больной, а с больного что возьмешь? Вон как он шеей своей крутит!.. И вообще, подумал я, если бы кто-нибудь из нас мог бы хоть немножко быть умнее, чем он есть, насколько бы он тем самым облегчил бы себе свою же жизнь.

Время было серого цвета, цвета бетонных плит. Я боялся торопить его, мне казалось, что если я буду подталкивать его обычным, примитивным счетом, что-то рассыплется, в том числе и во мне. Что-то важное, на что я набрел случайно. И что стало, быть может, главной моей добычей.

Ребята из роты охраны закатили в самолет какие-то сейфы — кто знает, может, в одном из них мой дневник? Потом они начали перекидывать по цепочке ящики со светлым виноградом. (Слова Слепцова о том, что особистам было поручено подготовить взятку какому-то генералу местным виноградом, похоже, оказались правдой.) За ящиками втянули присмиривших овчарок, и через некоторое время трап подняли. Очень скоро пошли разгоняться винты. Без минуты с чем-то самолет высунул свой нос на рулежную дорожку, а затем выкатился и на взлетку, исчерченную тормозами истребителей-бомбардировщиков. Постояв немножко с вальяжностью гражданской машины, точно сберегая силы для набора необходимой скорости, он начал разбегаться, но так медленно, так тяжело, что захотелось даже подложить под его хвост руку и легонечко подтолкнуть. Как торопил я его взглядом, как подгонял, пока он не поднял наконец свой красивый дельфиний нос вместе с кусочком неба, пропитанным пьянящим розовым отливом. А потом он оторвался от земли и очень скоро плавно всем крылом лег в разворот, взяв курс на Ейск.

А я все стоял и стоял. И пока самолет не превратился на моих глазах в тающую точку, думал о доме, о ремонте, который сделала мама, о голландской печке, которую она снесла, чтобы поставить для меня арабскую софу в маленькой комнате; я думал о мини-баре с американской выпивкой и сигаретами, одним словом, о том Голливуде, который моя тетька, завуч школы №60, поклонница Достоевского и Бетховена, терпеть не может и которым я бредил на гражданке. А еще я думал о том, что напишу папе с мамой, как только узнаю, когда меня отпустят в запас. Но точного числа не назову, чтобы меня никто не встречал. Я дойду пешком от Сабунчинского вокзала до Второй Параллельной. Мимо Нового базара и моей школы. При виде меня мама, конечно же, расплачется, подбежит ко мне как к воскресшему, а потом, немного успокоившись, позвонит отцу, чтобы он пришел к нам; с четвертого этажа спустится тетя с братом Эмином, набегут соседи, навалятся скопом, начнут спрашивать, что да как, и я буду говорить с ними так же легко и непринужденно, как только что летчики друг с другом, когда проходили мимо меня. Прямо на следующий день, после того как я хорошенько высплюсь, я пойду и сдам в ремонтную мастерскую свои часы Avi-81, которые уже скоро два года как ждут меня в коробке из-под азерчая. Чего

они лежат, часы должны ходить. Я глянул на запястье, показалось, время сдвинулось и пошло, вернее, потекло, как обычно.

\* \* \*

У каждой рассказанной истории имеется в запасе как минимум еще один финал. Порою случается так, что он и есть самое логичное ее завершение, и автор непременно воспользовался бы им, не будь причины или ряда причин, оказавшихся сильнее автора. В этом плане в нашем любезном отечестве со временем немногое меняется, судить определенно, в чем тут дело — в цензурной ли узде или в повсеместной неготовности оказаться свободными, — никогда нельзя, тут все зависит от каждого конкретного случая. Одно могу сказать точно: дневников с той поры я не веду, рабочие тетради уничтожаю тотчас же, как только в них отпадает надобность. Сжигаю все до последней страницы, представляя себе тот костерок, который с таким успехом развел однажды под Буденновском и который, как мне кажется по прошествии сорока с лишним лет, в итоге и решил мою судьбу, а вовсе не новенькие генеральские погоны начальника училища.

